

ГЕОРГИЙ БАЖЕНОВ

ФАНФАРОН И
АДА
(СБОРНИК)

Георгий Баженов
Фанфарон и Ада (сборник)

«Баженов Георгий Викторович»

2018

ББК 84(2РосРус)6

Баженов Г. В.

Фанфарон и Ада (сборник) / Г. В. Баженов — «Баженов Георгий Викторович», 2018

ISBN 978-5-7117-0591-8

В книгу Георгия Баженова входит новая повесть «Фанфарон и Ада» и лучшие повести автора о любви, семье и верности, написанные за 40 лет работы в литературе.

ББК 84(2РосРус)6

ISBN 978-5-7117-0591-8

© Баженов Г. В., 2018

© Баженов Георгий Викторович, 2018

Содержание

Фанфарон и Ада	5
Ярославские страдания	36
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Георгий Баженов

Фанфарон и Ада. Фанфарониада

«Жизнь наша (наша биография) есть организм, а вовсе не отдельные поступки: все наши ошибки, грехи, злые мысли, злые отношения с самого детства и в юности имеют себе соответствие в пожилом возрасте и особенно в старости».

В. В. Розанов

Фанфарон и Ада Фанфарониада

История эта случилась на Урале, в небольшом пригородном поселке.

Когда они наконец развелись, Ада смело привела в дом нового сожителя. Получилось забавно: в одной комнате жили Ада с Кириллом, а в другой – бывший муж Захар с сыном.

Захар давно потерял работу, ничего нового найти не мог да и не особенно к этому стремился, в основном он долго и нудно рассуждал о превратностях судьбы. Слушателем его чаще всего был он сам или сын Егорка, который беззаветно любил отца, любил, конечно, и мать, а вот нового ее сожителя ненавидел.

Егорка был молчун, мать – хохотушка, а отец – безработный философ-любитель, который мог вести обличительные речи на любые темы, в любом направлении и с самыми неожиданными заключениями.

Кирилл с Адой уходили на работу, Егорка – в школу, а Захар (делать нечего) принимался опустошать холодильник. Еды своей у него не было, но это Захара не смущало: «Жирные коты, ведущие безнравственную половую жизнь на глазах у сына и у бывшего мужа, не должны еще больше жиреть рядом с голодным пролетарием». Жирные коты – это, конечно, Ада с Кириллом, а голодный пролетарий – это, разумеется, Захар.

Не один раз новый сожитель заставлял Захара врасплох за этим занятием, грозился, ругался, но с Захара всё как с гуся вода.

Если это случалось при Аде, она просто весело хохотала, приговаривая:

– Кирюша, мы должны делиться своим счастьем! – на что Кирилл резонно замечал:

– Счастье – это одно, а еда – совсем другое.

– А он у тебя тоже философ, – вставлял словцо и Захар. – А в философии главное – не превратить мысль в полную себе противоположность.

– Чего-чего? – удивлялся Кирилл.

– А то, что как пожалеешь – тут же и потеряешь, а кто потеряет – тот больше никогда не найдет.

– Вот ты и потерял свою жену! – заключил усмешливо Кирилл.

– Я потерял, ты – нашел, это одно и то же. Не для нас с тобой, а для Ады. Пусть хоть она будет счастлива рядом с нами!

– Особенно рядом с тобой! – смеялась Ада, на что Кирилл только угрожающе хмурился. Но это все цветочки.

Однажды Захар переборщил, не только опустошил холодильник, но и всю раковину завалил объедками и грязной посудой; обычно вечером всю эту посуду терпеливо мыла Ада, как бы даже ласково улыбаясь: надо же, какой прожорливый ее бывший муж, чем меньше работает – тем больше ест, бедолага. Но тут получилось так, что в обеденный перерыв вернулся домой

Кирилл, в холодильнике – пусто, в раковине – гора посуды, а Захар лежит на диване – разговаривает сам с собой об обычных превратностях судьбы.

Кирилл медленно подошел к Захару и, не говоря ни слова, приподнял его над диваном и поставил на пол.

– Слушай, ты! если еще! хоть раз! залезешь в холодильник, – убью!

И, чтоб Захар действительно уяснил эту мысль, Кирилл дважды ударил Захара – слева направо и справа налево. Не кулаком, конечно, нет; если б кулаком – худо было бы, а так, ладонью, вроде как слегка пострадал Захара.

На это Захар смело заявил:

– Был, есть и буду Ваш неубиваемый поклонник. Поклонник семейного счастья! Но и жить голодным тоже не могу. Тебе что, куска насущного хлеба жалко?!

Тут надо сказать: Захар был небольшого роста, несуразный, кургузый, с брюшком, а Кирилл выдался под два метра, статный, красивый, с кулаками – кувалдами, которыми, правда, никогда не злоупотреблял.

Но тут, кажется, был особый случай.

Кирилл покраснел, как рак, от философски – наглого вопроса Захара, не сдержался и самым прямым образом заехал Захару в зубы.

Именно в этот момент (именно в этот) открылась входная дверь: вернулся из школы Егорка. Он успел увидеть и услышать этот удар, а кроме того – два передних зуба не только вылетели у Захара, но и полетели в сторону Егорки, и один зуб даже поцарапал правую щеку пацана (кровь еще долго не засыхала на его лице).

Егорка пулей подскочил к Кириллу и крепенькими своими кулаками стал бить его куда попало: в грудь, в живот, в пах (но что эти удары для Кирилла?!), приговаривая:

– Сволочь! Скотина! Подлец! Мерзавец! Ненавижу, ненавижу! Не-на-ви-жу!

С тех пор Захар слегка шепелявил, когда произносил свои обличительные и философские речи, а в тот момент, отплевываясь кровью в платок, глубокомысленно заключил:

– Кто ничего не уяснил – тот ничего не понял. И зачем такие люди живут на Земле, а, Кирюша? Оглянись во гневе – что ты видишь?! Война любящих людей и война ненавидящих людей, – две войны как суть смысла жизни. А смысл-то жизни – в ее безумности. Это ты еще раз подтвердил, дорогой Кирюша!

К вечеру Захар с сыном собрались на Красную Горку – маленькая такая деревушка в нескольких километрах от поселка. Там с незапамятных времен жила мать Захара, Антонина Ивановна. Деревенские, правда, звали ее просто Тошей; так и прикрепились: Тоша да Тоша.

Тоша жила одна, но не одиноко. Не скучала, не тосковала, не убивалась, что сын у нее – непутевый; да она его таковым и не считала. Она твердо знала: любой сын у любой матери – это ее гордость. По-другому и думать нельзя. Никто не знал душу Захара, а она знала: сумасброд, конечно, басурман, да ведь он додумался, дочитался в разных книгах, что главное – не то, как ты живешь, а то, как ты к жизни относишься. Вот, к примеру, как она сама живет? Бедно, худо живет. А она счастлива. И этому счастью научил Тошу ее непутевый сын. Такой парадокс.

Сложил Захар свой немудрящий скарб в котомку (что-то вроде рюкзака), и они вышли с сыном из дома. Улица Миклухо-Маклая – древняя улица в поселке, многие дома в нем строили еще пленные немцы, а вот последние семь-восемь домов – это новострой. Ну, как новострой? Тоже лет двадцать уже стоят, но стоят как бы не совсем законно. Когда-то здесь, в низине, протекала речка Полевушка, вроде небольшая, но очень бурная, глубокая; и что вы думаете? Один из рукавов Полевушки облюбовали бобры. Вот течет-течет Полевушка, потом вдруг раздваивается, а через какое-то время рукава вновь объединяются-соединяются в одно русло, и Полевушка течет себе и течет дальше. Один из рукавов облюбовали бобры, год, два, три строили свою плотину, валили сосны, березы, осину, даже дубы, тащили и валежник с кустарником; много раз плотину сносило взорвавшимся бурным потоком, но бобровая смекалка и дол-

голетнее упорство победили: перекрыли они один из рукавов Полевушки и возвели для себя царственный пруд-водоем, где десятилетиями чувствовали себя полными хозяевами.

Там, наверху, за плотиной, – царство бобров, а здесь, внизу, – не одна, не две, а многие сотки никем не паханной богатейшей плодородной земли, в которую только брось семя или картошку – все само собой подымется богатым урожаем.

Но земля эта не числилась ни в каких реестрах и кадастрах, и много прошло времени, прежде чем заводские власти получили разрешение на продолжение улицы Миклухо-Маклая вот сюда, в низину; и пусть всего семь-восемь домов построили (дома двухсекционные: с одной и с другой стороны – отдельные квартиры, отдельные хозяева) – но и это немало: примерно пятнадцать-шестнадцать семей получили новое жилье плюс шесть-восемь соток наижирнейшей земли для садов-огородов. Среди новоселов оказались и Ада с Захаром.

(Давно это было, давно...)

А вот сейчас Захар с сыном неспешно шагали в сторону от поселка – к бабушке Тоше на Красную Горку.

Она их встретила не охами и не вздохами, только сказала:

– Ну что, выставили тебя, горемычный?

– Меня не выставишь, – гордо ответил Захар. – Я, мать, самставляюсь в любую сторону: куда хочу – туда и иду. Пожить-то у тебя можно?

– И Егорка с тобой? – Она потрепала внука по вихрастой, с рыжинкой, голове. На лице у Егорки тут же вспыхнули и рыжие веснушки.

– Нет, мать, Егорка должен учиться. Не просто учиться, но и учить других.

– Кого это?

– Бывшую мою жену Аду и ее сожителя Кирилла.

– Учитель больно молодой...

– Только молодые и могут возжечь чужое сердце. Чему научишься у толстокожих и пустых оборотней?

– Ладно, проходите... Сейчас самовар поставлю.

Вечером, вернувшись с работы, Ада увидела гору немытой посуды в раковине. Рассмеялась: «Ну, дает Захарка!»

– Вот и я ему дал, – мрачно пробурчал Кирилл.

– Не надо трогать убогих, пусть себе живут! – Ада еще веселей рассмеялась, и ее большие лучистые глаза засветились озорством, словно бы говоря Кириллу: «Какая у нас ночь впереди, какая у нас необыкновенная ночь впереди, дорогой!»

Как она любила Кирилла! Просто обожала! Она увидела его впервые на автобусной остановке, высокого, стройного, уверенного в себе, – что-то совершенно другое, чем Захар, чем все мужчины, которых она встречала до того. Оказывается, она не знала, что идеал для нее – это высокий мужчина. Сколько лет прожила на свете, а не знала этого. Бывает такое. Надо же, бывает. Открываются глаза – и ты понимаешь: ничего другого не надо. Только он. Он один. Кто он, что он, чем занимается, что делает, – неважно. Важно, чтобы он теперь был всегда рядом. И всегда знал: я люблю тебя! (Но пока они не сказали друг другу ни слова.)

А он вдруг шагнул в сторону от автобусной остановки, хотя автобус уже приближался, и Аде нужно было решить: что делать? Он же, как зачарованный, шагнул в сторону и остановился около полусгоревшего тополя. Что ему там надо? Вот автобус остановился, вот люди выходят, вот люди входят, а он... а она... она остается на остановке и смотрит на него: что же он делает около этого почерневшего тополя? А он стоит и стоит; и правда, как зачарованный.

Она медленно, неуверенно, сомнамбулически подходит к нему:

– С Вами все в порядке? У Вас что-то случилось?

– У меня – ничего.

– Кто же Вы?

Он внимательно посмотрел на нее:

– А Вы кто?

– Это неважно, – сказала она. – Важно, что я встретила Вас наконец.

– Вообще-то я электрик. И обычно электрикам радуются только те, кто вызывает нас по делу.

– А просто так никто Вам не радуется?

– Видите – дерево? Тополь? – показал он. – Так вот, его ударило молнией.

– Да, вижу. – Она была готова соглашаться со всем, что только он ни скажет.

– Я считаю, что молния – начало жизни на земле. Вначале – молния, затем – огонь. «Знайте, что смертным огонь на Землю доставлен впервые молнией был!» Слышали древних?

– Да, да.

– При чем здесь Ваше «да»? Я стал электриком, только потому, что считаю началом жизни на Земле молнию.

– Я понимаю. Я правильно понимаю: Вы язычник?

– Какой я язычник? Нет. Я просто электрик, который верит: жизнь на земле от молнии.

– Знаете, и я так считаю. Я даже считаю, что вообще все в жизни, то есть самое главное, самое важное, – происходит молниеносно. Подобно молнии. Вот, к примеру, наша встреча...

...Ну, и когда Ада развелась с Захаром, она привела в дом Кирилла. Как говорил Захар: «Я – потерял, ты – нашел, хотя для Ады это одно и то же».

Но тут Захар ошибался.

Утром Аду с Кириллом разбудил стук в стенку.

– Ты слышишь? – Ада тихонько погладила Кирилла по плечу.

– Чего опять нужно твоей подружке? – недовольно пробурчал Кирилл.

Вместо ответа Ада рассмеялась тихим счастливым смехом: ночь была прекрасна и нежна.

Стук в стенку повторился: более настойчивый, даже требовательный.

Квартиры в двухсекционных домах на улице Миклухо-Маклая разделялись одной общей стеной, так что с соседями можно было перестукиваться и переговариваться напрямую, через стенку.

– Ты, Марьяна?

– Я, я...

– Что случилось?

– Зайди ко мне. Срочно.

Ада соскочила с постели, накинула халат и быстро юркнула в ванную. Наспех ополоснула лицо, прополаскала-почистила зубы и вот так, в халате, побежала к соседям. Дел-то было: обойти дом и зайти точно по такому же крыльцу, как и у них, в соседскую квартиру.

– Ты где?

– Да здесь я, в спальне, – крикнула Марьяна.

Вообще в двух самых крайних домах на улице Миклухо-Маклая жили четыре семьи. Дом № 100 и дом № 99 стояли на самом отшибе, напротив друг друга, и жили в них со своими семьями четыре подруги, три из них – одноклассницы, очень дружные между собой, почти сестры. Они даже и замуж, кроме Марьяны, вышли в один год, и дети-сыновья появились у них с разницей в один-два года. Пацаны тоже дружили друг с другом, а летом день и ночь пропадали на рыбалке – либо на Бобрином омуте, либо на Полевушке.

Ада подошла к Марьяне и со света не сразу разглядела, что та в постели не одна, с сыном Павлушей.

– Что случилось?

– Да вот, погляди! – Марьяна откинула одеяло и показала на свою руку и на руку Павлуши.

«Ну и что?» – подумала про себя Ада.

– Ты что, не видишь?

– Что именно-то?

– Да посмотри внимательней!

Ада посмотрела внимательней, но все равно ничего не поняла: Марьяна и Павлуша держали друг друга за руку, крепко держали, – ну и что?

– Сегодня воскресенье, так? – спросила Марьяна. – Ну вот, начиная с пятницы, затем в субботу, а сегодня уже воскресенье, – мы не можем расцепить наши руки.

– Как это?! – не поняла Ада и поначалу даже прыснула, но тут же осеклась, пристыдила себя.

– Тебе смешки, – укорила Марьяна, – а я не знаю, что делать?!

Павлуша лежал рядом с матерью, очень спокойный, пухленький такой, круглолицый, безмятежный, с невинно-голубыми глазами и востренько-умной челочкой на лице. В школе его считали вундеркиндом, да и друзья относились хоть и с насмешкой, но с насмешкой уважительной: всё знает, гад!

Вот Павлуша и объяснил Аде:

– Вы не удивляйтесь, тетя Адель! (Полное имя Ады действительно было «Адель».) Перед Вами не так уж редко встречаемое явление.

– Какое явление?

– Диффузное проникновение тканей.

– Ничего не понимаю, – опять было тихонько, в кулачок прыснула Ада.

– В этом случае надо действовать по инструкции, – наставительно и твердо порекомендовал Павлуша. – Поскольку мы с Матрицей (так он всегда называл мать) не можем самостоятельно отправиться в лечебное учреждение, – надо вызывать «скорую».

– И что же нам сказать?

– Так и сказать: диффузное проникновение тканей.

– И они поймут?

– Вряд ли. На «скорой» чаще всего малоквалифицированные специалисты, для них главное – научное звучание диагноза.

Ада вопросительно смотрела на Марьяну, та – на Аду, и обе не знали, что делать.

– Чего же вы медлите, тетя Адель? – упрекнул Павлуша. – Я же Вам объяснил направление общих действий, так начинайте. Начинайте!

...В больнице Марьяну с сыном продержали несколько дней: как только ни изошрялись, чего только ни делали, – не получалось расцепить их пальцы. Приехал специалист из Екатеринбурга (из Свердловска, по-старому) и, услышав про диагноз: «диффузное проникновение тканей», – грубо рассмеялся: «Такого диагноза в медицине нет. Правда, есть такое понятие в химии, в физике, в биологии, но не в медицине». Специалист сделал всего один, но какой-то очень замысловатый укол (и матери, и сыну) – и пальцы их наконец расцепились.

– Ну вот, – напоследок объяснил специалист, – перед нами вполне изученное явление: «замковое сцепление пальцевых суставов». А вы – «диффузное проникновение тканей». Чепуха какая-то!

Впрочем, когда специалист уехал, местные врачи долго рылись во всех медицинских справочниках, но так и не нашли такого диагноза: «замковое сцепление пальцевых суставов».

Мистика какая-то!

(Впрочем, впоследствии, в этой мистике кое-что объяснится, но все это будет попозже, не будем торопить события.)

Отца Павлуши звали Алиар-Хан, какое-то почти индусское имя, хотя по национальности батюшка Алиар-Хана был наполовину русский, наполовину киргиз (мать была русская). Как

он появился в заводском поселке, большая загадка, но главное – он появился и смог покорить сердце Марьяны Кузьминичны (это ее полное имя).

Фамилия его была Муртаев.

Алиар-Хан Муртаев окончил когда-то московский Университет Дружбы Народов и на последнем курсе написал откровенно-льстивое письмо товарищу Горбачеву Михаилу Сергеевичу: мол, я патриот своей Родины, хочу быть членом Вашей партии, буду неукоснительно следовать Вашему курсу и готов служить Вам в любом качестве денно и нощно. Ответа от уважаемого товарища он так и не дождался, а ждал еще долго, года три, и все это время, естественно, не работал, а пробивался случайными заработками. Жил в Москве недалеко от одной православной церкви, и однажды его осенила плодотворная идея: люди сами принесут тебе всё на блюдецке с голубой каемочкой, только сумей стать для них почитаемым, а главное – вещим.

В то время он снимал жилье недалеко от метро «Сокол», маленькую слепую комнатку; и вот однажды Алиар-Хан приволок мешок семечек (большой мешок, как раз такой, в каком обычно перевозят картошку), поставил его посреди комнаты и начал самым обыкновенным образом лущить семечки. Пошли слухи: вот в этом доме, как раз на втором этаже живет святой, не ест, не пьет, питается только семечками и свято блюдет нравственные законы.

Потянулись сначала любопытные граждане, потом верующие, потом настоящие ортодоксы и ученики-почитатели. Алиар-Хан Муртаев отпустил бородку (киргизскую), волосы стричь перестал, глаза во время сеансов дзен-буддизма старался совсем не открывать (так, узкие щелочки) и – главное – почти ничего не проповедовал, кроме двух канонов:

– Дзен – буддизм – истина истин. Ничего не надо, ничего не имей, ничего не желай, главное – созерцание, в созерцании – бессмертие твоё и детей твоих, и внуков твоих, и всех последующих поколений.

И второй канон:

– Все в мире пронизано семенем, семя отдал – рождается жизнь, с жизнью рождается бессмертие, с бессмертием рождается смысл, а за смыслом является всевышний. Ибо один семя отдал – другой семя взял (женщина) – и родилось бессмертие твоё и твоих поколений, а над твоим и за твоим бессмертием стоит всевышний. Вот оно, семечко, берите его, вкушайте, и больше ничего не надо, ничего... истина сама откроется вам!

И подходили к Алиар-Хану паломники, получали от него по несколько семечек, почтительно кланялись и оставляли на подносе денежки, кто сколько мог. Перед Алиар-Ханом всегда стоял огромный мешок семечек, вокруг мешка, как ожерелье, несколько ярусов шелухи, шелуха эта не убиралась и не подметалась, как бы говоря паломникам: вот я, я съел семечко – и я бессмертный, шелуха – отвалилась, а ядро семечки вошло в меня и продолжает вечную жизнь, так следуйте за мной и слушайте меня, слушайте, слушайте!

Скорей всего, за святое шарлатанство и выдворяли власти Алиар-Хана Муртаева сначала из Москвы, потом из других городов, потом из вовсе малых городов, а потом Муртаев добрался и до совсем небольших поселений, где можно было спокойно морочить простодушным гражданам голову; вот так, вероятно, он и оказался в нашем небольшом заводском поселке.

Егорка, возвращаясь от бабушки Тоши домой, в поселок, свернул в лесную глухомань, к избушке бывшего лесника Азбектфана; давно нет Азбектфана в живых, вся жизнь его покрыта мраком и страшными слухами, да и сама избушка почти сгнила, вон рассыпается в прах, но пацаны, когда бегут на рыбалку на Бобриный омут или на речку Полевушку, всегда заглядывают сюда.

А для чего? А чтобы страшно было.

Между прочим шофером в автобусе, в котором должен был ехать Кирилл, но не уехал, а остался рядом с обгоревшим тополем, а вместе с Кириллом осталась и Ада, этим шофером был

как раз Роман Абдурахманов. Он-то и видел, как завязался разговор между Адой и Кириллом около горелого тополя.

– Слышь, Верочка, – доложил он вечером жене. – А подружка твоя, кажется, нового кадра кадрит.

– Какая подружка?

– Адель Иванова.

– Ну, тебе бы всё сплетни разводить, – отмахнулась от мужа Верочка. – На себя лучше посмотри: только и делаешь, что пялишься на пассажиров. Думаешь, я не знаю?!

Верочка была третьей подружкой Ады и Марьяны, и жила она в доме № 99 на улице Миклухо-Маклая, как раз напротив закадычных подруг-одноклассниц. Как же ей было не защищать Аду? Хотя новость, конечно, любопытная: с Захаром у Ады давно не ладилось.

Верочка, в отличие от подруг, работала не здесь, в поселке, а в городе, в Екатеринбурге. Оператором в центральном офисе Уральского банка. Раньше филиал банка находился в поселке, вот там-то и работала Верочка, пока не пошла на повышение. Повышение-то повышением, а неудобств много: каждый день туда-сюда мотаться в город (сорок километров в одну сторону, столько же – обратно), и самое главное: сын оставался без присмотра. Хотя на Романа можно было положиться: он хоть и не родной отец Антошки, но был для него лучше родного. Тут Роману надо отдать должное.

Вообще трудно нынче жилось Верочке: и не потому, и не поэтому, и не по третьему и не по четвертому, а просто бог его знает почему. В какой-то момент она почувствовала, как говорят нынче, кризис возрастного периода: всё и вся ей опостылело. Когда умер первый муж (от пьянки), Верочка собралась в комок, в пружину, в кулак, день и ночь посвящала себя сыну Антошке, не смотрела ни туда, ни сюда, никуда, еще и подруги поддерживали, но личной жизни не было никакой.

Марьяна однажды (она работала бухгалтером в ЖЭКе) пришла в банк по финансовым делам и как бы между прочим оборонила для Верочки:

– Ты что, ничего не замечаешь?

– Что именно?

– Что по тебе парень сохнет?

– Какой еще парень?

– А вон – посмотри! – Она кивнула на входную дверь, где, как часовой, торчал былинкой охранник-милиционер, по званию – младший сержант, кажется.

– Да он же старый для меня! – возмутилась Верочка.

– Лет на пять-шесть старше – и уже старый?

– Да и не в этом дело. Возраст – ерунда. Зачем он мне вообще?

– Антошке отец нужен!

– Отец! Может, и нужен отец, да не такой. Я три года здесь работаю, а его не замечала, будто и не видела совсем. Кто он, что он? Как хоть его зовут? Даже не знаю.

Но разговор этот не прошел даром. И что стала замечать Верочка – не он, Роман (так его звали), смотрел в ее сторону (он боялся и глаза поднять на нее), а она все чаще, все внимательней приглядывалась к нему: и ростом вроде невелик, и возрастом староват, и звание – ниже некуда, а вот поди ж ты – что-то в нем задевало ее. (Позже она поняла: то и задевало, что он был по-настоящему влюблен в нее, хотя и не смел даже мечтать о взаимности; а много ли мужчин истинно влюбленных в нас? Так только, нравишься то одному, то другому, – а что толку-то?!)

Однажды она спросила его, когда быстро-торопливо входила в банк:

– А вы почему не здороваетесь никогда?

– Как это?! – Он покраснел до корней волос, смутился, забормотал что-то.

– Так почему?

– Я всегда Вам честь отдаю!

- И что это значит?
- Это и значит: здоровья желаю! Здравствуйте, мол, – если по-граждански.
- Желаете здоровья? Странно...
- Именно так. А вот Вы, Вера Федоровна, наоборот, никогда не отвечаете на мое приветствие.
- Правда? – смутилась она.
- Меня для Вас будто не существует. Но я ничего, я не в претензии...
- Вас, кажется, Романом зовут? Ну что ж, будем знакомы. – Она протянула ему свою тонкую изящную руку.

...С тех пор прошло (пробежало, пронеслось) лет десять, и, конечно, лучшего отца для Антошки, чем Роман, трудно себе представить. Главное: он всеми своими кровиночками жил Антошкиной жизнью, он был больше чем отец, он был и матерью, и братом, и другом, всем, чем только может быть настоящий отец для родного сына. Особенно Роман любил с пацанятами ходить на рыбалку, на Бобриный омут или на Полевушку, летом и ранней осенью, – это было их заветное время, самое таинственное, самое мужское, самое отрадное время...

Да, пронеслось, пробежало, прошло десять лет, а нынче живется все трудней и трудней: и не потому, не поэтому, а просто бог его знает почему... но все-таки – почему?

Она боялась сама себе ответить на этот вопрос. А ответ был: она разлюбила Романа. Если вообще любила его. И не в том дело, что он был когда-то милиционер, притом самого низшего звания – дальше уж некуда, и не в том, что не прошел очередную аттестацию и не стал полицейским, как все, как все его самые обычные, такие же заурядные товарищи, и не в том, что он стал работать то трактористом, то шофером при начальстве, то водителем автобуса... Просто для нее, для женщины – что-то в нем было не то, не сумел он (да, наверное, и не умел никогда, хотя и любил ее, любил, любил – так он всегда повторял в трепетном заклинии), именно не сумел он возжечь в ней встречное чувство любви, – впрочем, что такое любовь, она так и не могла сказать точно и определенно. Какой-то все это туман, туманная обволакивающая истина-обман, один заман и больше ничего... Неужели и это иллюзия? Неужели это так?

Поэтому сегодня, когда Роман за ужином между прочим обронил:

– А подружка-то твоя, Адель Иванова, кажется, нового кадра кадрит! – Верочка грубо осадилла мужа:

– Тебе бы всё сплетни разводить! На себя посмотри: только и делаешь, что пялишься на пассажиров. Думаешь, я не знаю?!

Но это она неправду говорила. Наговаривала на Романа Абдурахманова.

И только Верочка сказала эти слова, у соседей через стенку разразился очередной скандал. Четвертая их подруга, «мадам Нинон» (так ее прозвали) закатывала настоящую истерику:

– Ты посмотри, как другие живут! Вон Марьяна – какой ремонт отгрохала! Все по-европейски, ламинат, кафель, дубовые двери, французские обои, крыльцо из золоченой плитки, а не как у нас – гнилые доски, книги все до одной выкинула на помойку (кому они теперь нужны?!), а ты, ты – захламил весь дом своими потрепанными книжонками, все колдуешь над ними, начитаться не можешь, а кому это сегодня нужно – быть умничающим дураком? Сколько лет прошу – заменить плинтуса в прихожей, ноль внимания, а потолки? Ты посмотри на потолки – черт знает что за потолки, и это у меня, у торгашки, как ты говоришь, да, я – торгашка, и летом, и зимой, и в холод, и в слякоть, и в жару – стою на рынке, добываю трудовую копейку, а ради кого и ради чего стараюсь? Ради того, чтобы жить по-человечески, чтобы в доме была полная чаша, чтобы сын наш был сыт и обут не хуже других, да и ты голым не ходишь, то тебе дубленку турецкую куплю, то зимние ботинки из Германии достану, и за все за это ко мне одно презрение и насмешки...

– Да не то, не то ты говоришь! – Это уже голос Валентина Семеновича, ее мужа. – Счастье-то не в том, сколько ты добра и хлама в дом натащишь (тут ты никогда не насытишься), а в том, чтобы быть довольным тем, что имеешь. Нужно научиться радоваться тому, что у тебя есть, а ты вспомни: много ли ты радуешься в жизни, хотя чуть не каждый день тащишь в дом то одно, то другое, то третье, то десятое... Усмири себя! Оглянись вокруг! Загляни в душу!

– Это ты оглянись вокруг! Жизнь совсем другая сейчас, ты проповедуешь в своей никому не нужной газетенке старые обветшалые принципы: будьте добрыми, будьте честными, будьте чистыми, а люди стали совсем другие – алчные, жадные, себе на уме, каждый норовит устроить свою жизнь так, чтобы было не хуже, а лучше, чем у других, для этого в дело идет все: знакомства, деньги, предательство, подставы, подкупы и много чего еще.

– И это ты называешь жизнью?!

– Да, такова сегодняшняя реальность! И ты ее не перешибешь паршивыми нравственными статьками в своей газетенке! От ваших газет и призывов у людей только каша в голове, вот, мол, здесь пишут: делай так – и будешь счастлив, а из дома на улицу вышел – все совсем по-другому. Да ты пойми – нынче капитализм на дворе, ка-пи-та-лизм!

– Не капитализм, а бардак. И бардак не на дворе, а в головах ваших.

– Ну, конечно, куда нам с нашими тупыми головами, с нашими куриными мозгами! Мы не способны понять, что вы там напридумывали в ваших статьях. Но чтобы вы ни напридумывали, жизнь не подходит под ваши сказки, ты и сам каждый день черпаешь не из своего нищего журналистского котла, а из моего котла – торгашеского.

– А это уж совсем не по-человечески: укорять куском хлеба!

– Да не жалко мне для тебя, ничего не жалко ни для тебя, ни для сына, только хочу, чтобы муки и страдания (когда я околеваю от мороза в торговых рядах – да, да околеваю!), чтобы эти муки не презирались, а понимались и оценивались!

...Шум и гам в этой семье – на разные лады – продолжался и повторялся тысячи раз, и со стороны могло показаться, что это несчастливая семья, но нет, несмотря на жесткие ссоры и раздоры, и «мадам Нинон», и Валентин Семенович жить не могли друг без друга. Многие годы Валентин Семенович работал журналистом в местной газете «Рабочая правда», дослужился до должности зам. главного редактора, после чего уговорил главного редактора дать газете новое название – «Народная правда». Мол, пишем не только для рабочих – пишем и живем для всего народа.

Одна беда: сын «мадам Нинон» и Валентина Семеновича никак не мог понять их отношений. Ему казалось, мать с отцом ненавидят друг друга: всю жизнь ругаются, ссорятся, кричат, беснуются, чуть не до драк иной раз дело доходит, а ведь они, родители, когда он появился на свет, почему-то назвали его знаковым претенциозным именем: Любомир. Правда, была дилемма: назвать или Любомиром, или Ладомиром. Выбрали: Любомир. И вот всю жизнь ему казалось: как раз ни мира, ни любви в семье нет. И однажды он по-мальчишески поклялся себе: когда вырасту – ни за что не буду жениться и заводить семью! Чтобы всю жизнь лаяться и обливать друг друга грязью? – извините!

А вот друг Любомира, Антошка (сын Верочки с Романом), который и во время этой ссоры и во время многих других ссор засиделся у них в гостях (сегодня друзья играли в шахматы, правда, из-за шума и крика думалось плохо), Антошка этот всегда был на стороне Валентина Семеновича. Его тоже волновала тема праведности и справедливости жизни. Или по-другому это звучит так: человек будет счастлив, если научится любить и ценить то, что имеет. Ни меньше, ни больше. Много раз на разные лады Антошка слышал эту фразу от Валентина Семеновича, и поэтому в душе у него зародилась и крепилась всё больше и больше одна заветная мечта: вырасту – стану журналистом. И только!

Когда Алиар-Хан впервые появился в нашем поселке, со своим мешком семечек и доморощенными постулатами дзен-буддизма, люботные и здесь потянулись к нему, сначала тонким ручейком, а затем понапористой, поактивней. Многие ахали и охали, одурманенные Алиар-Ханом Муртаевым, несли ему, как всегда и везде, подношения и деньги.

Наши подруги (все до единой) тоже побывали у него, похихикали; Ада в открытую посмеялась над убогими проповедями. Верочка с «мадам Нино» – те просто ничего не поняли, слегка посмеялись не столько над Алиар-Ханом, сколько над собой: надо же, такие бестолковые! И только одна Марьяна, своими черными пронизательными глазами, как лучами, как рентгеном, просветила сущность дзен-буддиста: да тут, оказывается, золотое дно под ногами! Недаром она была бухгалтером, быстро считала, прикидывала разные варианты и возможные исходы, и чутье подсказало ей: вот оно, вот оно!.. Собственно, она, конечно, никакого решения еще не приняла, и что это такое – «вот оно, вот оно!» – и сама толком не знала, но разожглось в ней любопытство, и заманчивая картинка забрезжила перед глазами о возможных безбедных перспективах... И в один вечер, задержавшись у Алиар-Хана дольше других, низко поклонилась ему и спросила с таинственной улыбкой:

– Скажите, учитель Хан, ведь вы родом из Киргизии?

Алиар-Хан важно склонил голову в знак согласия.

– Вы не спрашиваете, отчего я знаю это? – продолжала Марьяна.

Алиар-Хан еще ниже склонил голову: мол, я никогда ни о чем не спрашиваю страждущих, это они спрашивают меня.

– Все дело в том, что мой дед и бабушка долго жили под Бишкеком, это Фрунзе, в селе Петровка рядом с Беловодском. Знаете такое село?

Алиар-Хан еще ниже опустил голову; редкая его бородка коснулась черной мантии, в которую он всегда облачался, принимая гостей. А низко склоненная голова перед паломниками означала: я слушаю, слушаю вас, говорите, я ваш покорный и низжайший слуга...

– В тридцать седьмом году, до войны, дедушку Макария раскулачили и сослали в Киргизию. Вообще-то родина его – Алтай, село Голохвостово, не слышали, наверное. Хозяйство было небольшое, но крепкое: три коровы, две лошади, овцы, свиньи, гуси, куры, утки. Всё забрали, реквизировали, а дедушку с женой и пятерых детей мал-мала меньше – всех в «теплушку» (поезд такой) – и в Киргизию, на исправление. Хорошо – не расстреляли. Моя мать хоть совсем маленькая была, а родину не забыла: долго-долго жила в Петровке, старшую дочь и сына там родила, а потом в одночасье собралась, дом отцовский продала, корову – и на родину, на Алтай. Мы с младшей сестренкой уже там родились, в Сибири. Так что родина моя, я считаю, и Киргизия, и Алтай.

Алиар-Хан ничего не говорил, молчал, слушал.

– Что-то близкое, родное в Вас есть, учитель Хан. Не сердитесь, но мне кажется, я всю жизнь ждала, чтобы встретить своего Учителя. (Алиар-Хан Муртаев, действительно, мог сойти за учителя: лет на десять-двенадцать был старше Марьяны.)

Алиар-Хан еще ниже опустил голову.

– Вы не бойтесь, Учитель, я ни на что не претендую. Мне абсолютно ничего не нужно. Но Вы должны понять: сколько лет живу на свете, а всё как впустую, ни на что сердце не откликается, ничто по-настоящему не волнует, не задевает и не трогает. Так жить больше нельзя! И вот я увидела Вас и поняла: Вы укажете мне правильную дорогу. Ведь так? Можете не отвечать. Даже если Вы откажете мне в Ваших наставлениях – я все равно буду Вам благодарна!

(Сколько раз впоследствии, вспоминая этот разговор с Алиар-Ханом, Марьяна будет изумляться и своему неожиданному красноречию, и всем своим нежданым словам и воспоминаниям, – как будто во сне все было, как будто и не с ней это происходило, как будто рок какой-то вел ее за собой; и в то же время, вспоминая этот разговор, Марьяна часто искренне

смеялась над собой и над ситуацией, буквально взрывалась смехом, не могла поверить, что вся эта тарабарщина – реальные события, ну не смех разве? не потеха? не чародейство?)

– Как Ваше имя? – неожиданно тихо, проникновенно спросил Муртаев.

– Меня величают Марьяна. – Она вновь поклонилась ему.

– Я так и знал. – Почему Алиар-Хан так уверенно сказал, осталось вечной загадкой. Может, на самом деле был провидцем?

... Через год у них родился сын Павлуша, будущий вундеркинд. А еще через год Марьяна попадёт в тюрьму.

* * *

Захар у матери починил забор, напил и наколот дров, в доме подлатал на полатах доски, в баньке настелил новый пол, над крыльцом смастерил крышцу из старого, но не битого шифера. Ну, а если дел больше не находилось, Захар целыми днями лежал на полатах, включал лампочку и с упоением читал книги. Читал он их без всякого разбора, хоть художественные, хоть технические, хоть заумно-философские, хоть сказы и сказки, – ему все равно. Книг, как ни странно, у матери Тоши был целый чулан; теперь какая мода пошла? – все в поселке от книг избавляются, буквально на улицу выбрасывают. (Ада, к примеру, в первую очередь: «Ни к чему мусором жилье забивать, в квартире должно быть чисто, светло, стильно, свободно. Сколько книжек народ читал – и что? умней стал? Благодаря этим книжкам людей и облапошили, все читали, верили, надеялись, – а им раз только: фигу с маслом, всё отобрали да еще сказали: сами во всем виноваты! Читающих-то быстрее надуть можно: они всё буквы разглядывают, раздумывают, мечтают, рты разинут – манну небесную ждут, а у них богатство из-под носа забрали да этим же носом в дерьмо ткнули – живите теперь и нюхайте!..») Ну, а Захар повсюду книги подбирал и тащил сюда, на Красную Горку, так что здесь у них с матерью Тошей целая библиотека набралась.

– Ну, и как ты собираешься дальше жить? – спрашивала мать.

– А никак.

– Люди живут – работают, а ты чего?

– А я, мать, на чужих богатееров горбатиться не буду. В нашей жизни уже все сделано, ешь, пей, бери чего хочешь – всего вдоволь.

– Откуда вдоволь-то, если работать не будешь?

– А смотри, мать. Ты на работу не ходишь, я не хожу, а живем – лучше всех. Что нам, картошки, что ли, не хватит? Я лучше лежать буду и думать. Пусть они там жиреют, все больше и больше хапают, а жить-то лучше не станут. Истина не в том, чтобы иметь, а в том – чтобы не иметь.

– Как это? – удивлялась мать.

– А так. Чем больше хапаешь, тем больше рот разеваешь. Вот мимо рта твоего твое же богатство и уплывет.

– Мудрёно.

– Не-е... Я и Егорке говорю: не тебя должны учить, а ты их должен пресекать.

– Пресекать? Это за что же? – охала мать Тоша.

– Не в смысле – рот затыкать, а в смысле – истину объяснять.

– И что за истина такая?

– А истина простая, мать: войны – они от богатства, и не просто от богатства, а от того, что богатства еще больше хочется. Бедный на бедного не пойдет. Вон раньше лозунг был: «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!». Хороший лозунг придумали: рабочий рабочего лупить не будет. А богач заставит обоих: убивайте друг друга до смерти! Мне же потом всё ваше богатство и достанется, возьму его голыми руками. Вот так, мать!

– И в кого ты у меня разумник такой?! – понимая и не понимая сына, вздыхала мать Тоша.

На работе, в центральном офисе банка, девчонки как-то подбросили Верочке неожиданную идею. Мол, зачем мотаться каждый день из поселка – в Екатеринбург, а из Екатеринбурга – в поселок. Продай там жилье, а здесь купи... ну, хотя бы однокомнатную квартиру для начала.

– А денег-то где взять? В поселке за мое жилье гроши дадут.

– Как где? В банке кредит возьмешь под льготный процент. И самое главное (ты что, не слышала?) в нашем корпоративном доме, который строится на деньги банка, есть несколько свободных квартир – для своих. Внесешь залог, а там... Главное, Верочка, ввязаться в сражение, как говорит Клаузевиц. (Про этого Клаузевица, немецкого боевого генерала, постоянно, как заклинание, повторяла одна из сотрудниц, муж которой был военным – полковником, кажется.)

Вот тут и щелкнуло что-то в голове у Верочки. Есть, оказывается, выход из тупика, в котором она оказалась. Оказалась невольно, сама того не ожидая. Что-то нужно было кардинально изменить в жизни, развернуть ее на сто восемьдесят градусов, если не на все триста шестьдесят. На один вопрос она уже ответила сама себе, откровенно, прямо, грубо: да, я любила Романа. Страшно было в этом признаваться, но что делать – именно это тяготило ее в последнее время больше всего. Не сумел он, Роман, любя ее самозабвенно и даже обременительно, не сумел разжечь в ее сердце встречное чувство любви, – и разве она виновата в этом? О, конечно, она виновата во многом, но Антошке нужен был отец, мужская рука, а ей – мужская опора, вот она и поддалась на уговоры Марьяны, пригляделась к Роману: вроде нормальный мужик, добрый, покладистый, звезд с неба не хватает, да и на погонах ни одной звёздочки, но ведь надежный (а надежный ли? – думает она теперь, – может, она просто не видит и не замечает, а он вовсе заигрывает с женщинами, вон все говорят: постоянно балагурит с пассажирками автобуса... или это ей только кажется? или просто ей так хочется думать?). Но как бы там ни было, а первое, что она сделала (в тайне от всех своих друзей и подруг), подала заявление на развод.

Когда Павлуше исполнился год, Марьяна получила от младшей сестры Ульяны письмо: срочно приезжай! Мало сказать: они были сестры, они были как одно целое, могли часами болтать о чем угодно, причем никаких разногласий и споров между ними никогда не случалось: удивительно!

Марьяна быстро собралась, оставила годовалого Павлушу на руках у Алиар-Хана и на самолете вылетела сначала в Барнаул, а там на перекладных добралась и до алтайского Голохвостово.

Сестры, будто близняшки даже по именам – Марьяна и Ульяна, встретились, обнялись, расплакались, расчувствовались. Жаль, матери не было в живых, умерла несколько лет назад от сердечного приступа, а в остальном всё оставалось по-прежнему, даже и отец, Кузьма Ильич, казалось, нисколько не постарел, а как бы помолодел, что ли, отпустил усы и заливчатски подкручивал их на рыжеватых концах.

Ульяна работала следователем. Взятки не брала, но подарки принимала. А тут дело такое случилось: зятя районного судьи поймали на воровстве. На крупном хищении государственных средств. Следствие вела Ульяна. Дело оказалось таким запутанным, что Ульяна не знала, что и делать. Надо было посоветоваться, на что-то решиться, на кого-то опереться в своих мыслях и догадках. Вот она и вызвала сестру с Урала – ближе Марьяны никого у нее не было. Возьмешь линию судьи – прокурор тебе под зад даст. Возьмешь линию прокурора – судья, давний и верный твой друг, полетит со своего места. Вот и выбирай тут.

...Марьяна сидела в приемной следователя, когда туда вошел представительный такой мужчина, назвался Иваном Ивановичем.

– Вы тоже к Ульяне Кузьминичне?

– Да, поджидаю вот.

Ожидание затянулось, Иван Иванович тихонько напевал какую-то восточную мелодию, а Марьяна от нечего делать даже вздремнула.

– Знаете что, – обратился к ней Иван Иванович, – можно Вас попросить об одном одолжении?

– Да, конечно.

– Когда освободится Ульяна Кузьминична, передайте ей вот этот пакет.

– Да с великим удовольствием!

Иван Иванович вышел, а через несколько минут, когда из кабинета Ульяны вышло несколько человек, выглянула и сама Ульяна.

– Ты что сидишь? Заходи, я освободилась.

Марьяна встала, протянула сестре пакет:

– Это тебе.

– Что там у тебя?

– Да не у меня. Сидел тут какой-то Иван Иванович, просил передать.

– Иван Иванович? Впрочем, ладно, давай по порядку. – И уже более доверительно: – Ты знаешь, а я ведь так и не решила, что делать... – Ульяна вскрыла пакет, оттуда выпал конверт. – Что еще такое? – удивилась Ульяна, развернула конверт, и вдруг оттуда полетели деньги, – как перышки полетели в разные стороны.

Ульяна стала быстро, испуганно подбирать их, Марьяна также испуганно и непонимающе помогала ей.

И как раз в этот момент в кабинет нагрянула милиция вместе с работниками прокуратуры. Всё как в хорошо отрепетированном спектакле.

...Необъяснимое дело: Марьяне за соучастие в получении взятки дали три года, а младшей сестре Ульяне – десять лет с конфискацией имущества. Свой срок Марьяна отбыла от звонка до звонка, а Ульяна продолжала сидеть, кажется, до сих пор. С прокурорами нельзя играть ни в какие игры – ни за, ни против. Себе дороже выходит. Прокурор одним махом отделался и от судьи, и от следователя и везде поставил своих людей. На то он и прокурор, чтобы карась не дремал.

Первая жена Романа, Наталья Ивановна, жила в нашем же поселке, в собственном доме, скатанном из крепкого бруса; брус был обшит красивым резным штакетником. Не дом – сказка. И окна были в резных наличниках, и ворота с деревянными кружевными павлинами, и палисадник из отборных зелинок (чисто уральское словцо), и двор не двор, а придомовая дворцовая площадь. Живи – не хочу! Рядом с мамой тянулась к прелестям жизни и их общая дочь по имени Ростик. После развода Наталья Ивановна напрочь запретила и дочери, и Роману встречаться, достаточно было алиментов – вот и вся их семейная «дружба».

А в чем, собственно, дело?

Дородная, плавная, широкая в движениях, но решительная в действиях Наталья Ивановна указующе вещала так:

– Женился – тяни ляжку. Хоть надорвись, а чтоб в доме была полная чаша.

Полная чаша была, деньги были, огород, сад, куры – все было, даже поросят завели, чтоб мясо парное всегда дымилось на столе, чтоб Наталья Ивановна с дочерью еще плавней и дородней становились, еще круглей и объемней, еще пригожей и притягательней. Но для этого Роману приходилось работать на двух, а то и на трех работах. А к телу женскому подпускали редко – заслужить надо. А как заслужишь, если жена всегда недовольна? Вот знакомая всем картина – недовольные жены. Редко можно увидеть, хотя бы одну жену, которая при появлении мужа становилась бы ласковей и приветливей. Нет, всегда что-то им надо, чем-то раздосадо-

ваны, отчего-то нахмурены, а чуть что – еще и припечатают тебя же: «И не стыдно, кобели звериные, одно у вас на уме, только это вам подавай, сколько можно уже, как не совестно-то при живой дочери о таком мечтать, сделал ребенка – и хватит, насладился, теперь растить дитя надо, а не на бабу пялиться сальными глазами, тьфу!». Роман одно понять хотел: все они такие или только Наталья Ивановна у него на особицу?!

Вообще-то он романтик в душе был. Хотелось чего-то возвышенного, чистого, глубокого, почти неземного; он не пил, не курил, не ругался матом, а работал на самых простых работах: тракторист, шофер, грузчик, – где такие чудеса увидишь, чтобы на Урале, в обычном заводском поселке, подобные экземпляры водились? Попила Наталья Ивановна кровушки у своего «иванушки», ох, попила, а когда он бунтовать начал, сказала, как отрезала: «Вот тебе, дурень, – бог, а вот – мой собственный порог! Выбирай».

Она это смело говорила, ничего не боялась: Роман в примаках числился, никакого права на дом не имел (он достался Наталье Ивановне от отца с матерью), поэтому если кому не нравится жить по ее законам – скатертью дорожка!

Ну, и покатила скатертью Романова дорожка...

Когда-то, когда он только приехал сюда из Невьянска и устроился шофером на автобазу (после армии), когда-то как раз в Невьянске и был у него свой дом – правда, наполовину со старшим братом Демьяном; а когда Демьян женился и пошли у него дети, Роман, ни секунды не сомневаясь в своем решении, написал брату дарственную на свою половину дома, а потом подхватился и поехал искать счастье по белу свету: жизнь – она большая, огромная, успеется еще наладить свое жилье, какие наши годы...

Годы, конечно, катились, причем очень быстро; поначалу счастлив был с Натальей Ивановной (а, может, только казалось, что счастлив), дочка родилась – тоже вроде счастье, а потом взяли и турнули его из дома (а ему ведь когда-то казалось, что муж и жена – это навеки, навсегда, и неважно, чье жилье – его или ее, важно, что они будут всегда вместе, муж и жена; ошибся Роман в своих романтических грёзах).

Что было делать? Плюнул на все и пошел работать в милицию – лишь бы крыша появилась над головой. В милицеском общежитии быстро выделили комнату, и опять наш мечтатель стал жить в надеждах и прежних грёзах...

А уж когда его сделали постовым в местном отделении банка, голова его совсем, кажется, пошла кругом – каждый день мимо него то туда, то сюда проходило, проплывало чудо из чудес: тоненькая, изящная, обворожительная, почти неземная красавица, которая и внимания-то на него никогда не обращала; и даже когда он, лихо козырнув, восторженно-тихо приветствовал ее: «Здравия желаю!» – она и бровью не вела, не здоровалась, как будто не было здесь никакого младшего сержанта милиции, который охранял отделение их банка (он ведь, кстати, и ее, свою красавицу, тоже охранял). А потом вдруг эта красавица потухла, почернела, осунулась, одни огромные печальные глаза на лице, и он, Роман, так это переживал, что готов был застрелиться (если прикажут), лишь бы она вновь стала прежней. (У нее умер муж, – говорят, от пьянки, – остался на руках маленький сын Алешка, как ей было жить дальше?!)

Что бы там ни было, у нее продолжалась своя жизнь, а у младшего сержанта Романа Абдурахманова – своя. Он и думать не думал и в мечтах не мечтал, что не то что там... какое-нибудь такое... или эдакое... ему и в голову ничего подобного не приходило. Кто – он? И кто – она?! Он – обычный солдат на посту, всего лишь младший сержант милиции, его дело – охранять жизнь сотрудников банка, а она... она высшее существо на свете, не просто красавица, она некий идеал, божество (он, конечно, никому об этом не говорил, ни с кем не откровенничал). Бывает такое: любишься красотой кого бы то или чего бы то ни было, но тебе и в голову не приходит, что эта красота может принадлежать лично тебе. Красота – для всех, для многих, для тех, кто умеет ценить ее; твое дело – только радоваться, что удалось увидеть чудо из чудес.

Вот каким был наш романтик Роман Абдурахманов!

Наверно, так бы и продолжалось его молчаливое обожание красавицы, если бы однажды она сама, быстро-торопливо входя в банк, не удивила его вопросом:

- А вы почему не здороваетесь никогда?
- Как это?! – изумился он, покраснев до корней волос.
- И все-таки – почему?
- Да ведь я всегда вам честь отдаю!
- И что это значит?
- Это и значит: здоровья желаю! Здравствуйте, мол, – если по-граждански.
- Желаете здоровья? – изумилась она.
- Именно так. А вот вы, извините, Вера Федоровна, наоборот, никогда не отвечаете на мое приветствие.
- Правда? – смутилась она.
- Правда. Я для Вас будто не существую. Но я ничего, я не в претензии.
- Вас, кажется, Романом зовут? – Она протянула ему свою тонкую изящную руку: – Ну что ж, будем знакомы!

В поселке всего один рынок – он и вещевой, и продовольственный одновременно. И на вещевом рынке властвует, конечно, «мадам Нинон». Только и слышится ее звонкий и призывный голос:

- Мадам, что же Вы проходите мимо? У меня для Вас специальное предложение!
- Мадам, обратите внимание: персонально для Вас привезла итальянскую кофточку!
- Мадам, новейший ассортимент индийских шелковых платков! Вот этот как раз гармонирует с цветом Ваших глаз!
- Мадам, не хмурьтесь! У меня для Вас хорошая новость: новая коллекция нижнего белья. Вашему мужу понравится!
- Мадам, помада, отличная французская помада! Только что из Парижа!
- Мадам, турецкие женские халаты! Настоящая радуга расцветок!
- Подходите, подходите, друзья, сегодня, как всегда, огромный выбор товаров. Большие скидки. Постоянным покупателям – особые бонусы.
- Мадам, не надо печалиться. В жизни всегда есть место для счастья, не правда, ли?

Красивая, быстрая, приветливая, находчивая, Нина на рынке считалась королевой продаж. Она продавала легко, непринужденно, с азартом и, главное, никогда не предлагала плохой или залежалый товар. Покупатели для нее – это всё, это смысл жизни, это лучшие друзья; она обожала и любила их, и они отвечали ей взаимностью. Хочешь стать первоклассным мастером в любом деле – должен быть всегда на высоте ожиданий клиентов; если ты честен, прямодушен и открыт – покупатели придут к тебе еще и еще раз, им важно и общение с тобой, и доброе слово, и улыбка взаимного узнавания, и даже те маленькие тайны, которыми каждый делится с тобой, если доверяет, конечно. Как много уже она знала о своих клиентах, как много маленьких сердечных тайн открыли они ей, – разве она могла подвести их, нет, они всегда, всегда были для нее искренними друзьями, которых грех обманывать.

Так и прикипело к ней вместо имени возвышенное звание – «мадам Нинон». Нина не обижалась, наоборот – гордилась, что только у нее есть такое красивое звучное и знаковое имя!

В начале своей «купеческой» карьеры она летала за товаром то в Турцию, то в Индию, то в Китай, намучилась, пока научилась зарабатывать тяжелую трудовую копейку, а ведь всё, всё приходилось делать самой: и покупать товар, и отправлять его на родину, и получать, и сортировать, и везти-нести на вещевой рынок, а главное – нужно было преодолеть тот стыд и стеснительность, которые поначалу захлестывали ее сердце. Кем она была? Завхозом в обычной школе, а Валентин Семенович – учителем литературы; и когда жить стало совсем невмоготу, она плюнула на все – заняла под большие проценты тысячу долларов и полетела в Индию. В то

время очень хорошо «шли» шерстяные женские кардиганы и мужские свитера (каких только расцветок не было, каких только фасонов, все расхватывали на рынке, подчистую!). Да, было время, было...

А Валентин Семенович, бросив школу, с головой ушел в журналистику; не ожидал, что именно здесь найдет себя, что именно в газете откроет свое призвание: писать о жизни, а главное – иметь возможность выражать свое отношение к этой жизни. Ведь как мы живем? – в основном молчим (или перешептываемся на кухне), а тут можно было говорить правду (или то, что ты считаешь правдой) во весь голос, во всеулышание. (Забавным оказалось то, что именно Валентин Семенович когда-то опубликовал в «Рабочей правде», – она еще так называлась, – цикл разгоряченных репортажей о «проклятых» спекулянтах, которые душат и губят народную жизнь.)

Сколько было споров, скандалов в семье по этому да и по другим поводам! У Нины – одна правда, у Валентина Семеновича – другая, она ему – десятое, он ей – двадцатое, – почти никогда не находили точек примирения, но жили, жили вместе... Парадокс был в том, что жить друг без друга они не умели и не могли, и только один человек – их сын Любомир – не мог понять, как это возможно. Его жизнь в семье (его внутренняя жизнь) была настоящим кошмаром: он рос молчуном, затворником, ростом удался высоким, а ходил сгорбившись, всегда с понурой головой, руки у Любомира неприкаянно висели, как плети, походка неуверенная, странная: когда он делал шаг вперед, то и обе руки одновременно уходили вперед (трудно и описать его походку). И как-то он бочком, бочком продвигался, а не шагал прямо и твердо. Главная его мысль была: «Нет, ребята, когда я вырасту, ни за что на женюсь. Жить как кошка с собакой? Клянусь – никогда!»

Но отгадка была в том, что «мадам Нинон» с Валентином Семеновичем жили не как кошка с собакой, а как кошка и собака. Каждый знал свое место, каждый находил свой сокровенный уголок-тайничок в доме.

– Нет, я все-таки не понимаю, не понимаю, – со всегдашней своей горячностью восклицала Лариса Петровна Нарышкина, – как ты можешь жить с такой женщиной?! Это прямо фурия какая-то, это...

– Не твое дело, – безучастно бурчал Валентин Семенович, раскуривая очередную папиросу. Он писал очерк на тему: «Мы – в ответе за природу. Тогда почему природа расплачивается за наше равнодушие?»

– Ты не хочешь разговаривать со мной?! – капризно продолжала Лариса Петровна.

– Не хочу, – бурчал Валентин Семенович, попыхивая папирсой. Мягкие его волосы, как всегда, рассыпались на голове во все стороны.

– Ты не хочешь, а я тебе все-таки скажу: она тебе совсем не пара!

– Она мне пара. Очень даже пара. Пара, пара, пара... – Он говорил все это машинально, нахмуренно и сосредоточенно обдумывая очерк.

– Ты всегда отмахиваешься от меня! Как от назойливой мухи.

– Слушай-ка, ты, назойливая муха, – рассмеялся Валентин Семенович, – кто из нас учитель, а кто – ученик?

– Ты учитель, я – ученица.

– Ну так вот. Чего тебе надо? Я – занят. Я давно занят. Я стар для тебя. Я стар для всех. Мне никто не нужен. Я люблю свою «мадам Нинон». Я ее обожаю. Мой тебе совет: ищи себе достойную пару! Пока не поздно.

– Найдешь тут с вами. Не редакция, а сумасшедший дом!

Лариса работает в газете недавно, второй год, влюблена в Валентина Семеновича. Он для нее настоящий высококлассный профессионал, ас своего дела, к тому же опекает ее, учит умерять горячность и подходить к любому материалу с холодной головой, скрупулезно все

анализировать, а уж только затем высказывать свое мнение. «От твоей позиции – правильной или неправильной – очень часто зависит жизнь человека, его судьба».

– Кстати, в кого мне здесь влюбляться?

– В главного редактора.

– Чего-о?

– А что? Очень даже, очень даже, очень даже... – машинально повторял Валентин Семенович. – Будет тебя двигать по служебной лестнице.

– Не нужна мне никакая лестница. Мне ты нужен!

– Я занят...

– Хочешь отделаться от меня?

– Хочу.

– А я тебе все-таки скажу: не пара она тебе!

– Да пара она мне! – неожиданно закричал Валентин Семенович, – пара! Да еще какая. Она – святая! Ты понимаешь – свя-та-я!

– Ты чего это? – удивленно-испуганно пролепетала Лариса.

– Ты попробуй поживи со мной! Это я здесь такой – а дома я зверь. Бросаюсь на жену по любому поводу, все учу ее, подучиваю, критикую, ругаю, злюсь, а она – святая! Все терпит, все прощает, а знаешь – почему?

Лариса ничего не ответила, только молча и недоуменно смотрела на Валентина Семеновича.

– Потому что она птица. Она птица высокого полета. Она все тащит в свое гнездо, это инстинкт такой, создавать гнездышко, тащить в него всякое перышко; а мы, мужики? Нам бы сделать только свое дело, прикрываемся природой: хотим женщину, потому что это инстинкт продолжения рода, и вот я сделал свое дело – больше меня ничего не интересует, гнездышко ее меня не волнует; мы и сами не знаем, мужики, что нам нужно. А ты догадываешься, почему мужики спиваются? Потому что не знают, для чего жить дальше. После того как сделали свое дело, оплодотворили самку, для них возникает загадка: что делать дальше, для чего дальше жить?

– Да ты философ! Только доморощенный, примитивный какой-то. Самки, гнездышки, перышки, загадки...

– А ты – сомнамбула! Дура!

...Эта «дура» впоследствии станет первым пером газеты «Народная правда». Когда Валентин Семенович с «мадам Нинон» уедут из поселка – в Саратовскую область, в город Балашов, где в свое время родился Валентин, – именно она, Лариса Нарышкина, напишет свой самый знаменитый и скандальный очерк «Бедолага». Про страшного человека Глеба Парамонова, который однажды спас тонущую на воде семью (лодка опрокинулась): мужа, жену и их маленькую дочь. А потом, на глазах у мужа, стал сожительствовать с женой, нагло, в открытую. Кончилось тем, что дочь осталась сиротой: сначала муж повесился, потом жена, а дочь попала в детский дом. Один Глеб Парамонов продолжал жить как ни в чем не бывало: для него статьи в уголовном кодексе не нашлось. И вот прозвучал наконец живой голос Ларисы Нарышкиной (это и был голос общественности): до каких пор мы будем терпеть откровенное издевательство над всеми нашими моральными нормами? когда наконец мы сможем защитить себя от негодяев и подлецов, которые растаптывают нашу жизнь, убивают отцов, матерей и плодят вокруг сирот?! Где ты, Закон? Где ты, кара и справедливость?

Марьяна вернулась в поселок ровно через три года. Вернулась, словно и не было никакого темного прошлого. Только в глазах ее, в серьезных взыскующих глазах, будто затаилась какая-то грустинка, которая, как, малое зернышко, посверкивало иногда из глубины зрачков.

– С нашим государством шутить нельзя, – часто повторяла теперь Марьяна. – Или ты его, или оно тебя. Середины не бывает.

Что стояло за этими словами, мало кто понимал. Но на работу в ЖЭК ее взяли; правда, не бухгалтером, а так – посадили на телефон, принимать разные заказы и претензии от граждан. Потом время шло, еще шло, портрет Марьяны повесили на Доску почета, потом сделали секретарем начальника, со временем начальник вновь перевел ее в бухгалтерию и в конце концов назначил главным бухгалтером. Не прошло и полгода, как она вернулась.

Но не это интересно.

А интересно то, что то поклонение, которое она испытывала (правда, иногда с насмешкой, иногда с насмешливой издевкой) к своему мужу Муртаеву Алиар-Хану, это поклонение не только продолжилось, но еще более усилилось. В поселке давно никто всерьез не относился к проповедям Алиар-Хана, считали его за чудака (если не хуже), который годами сидит около своего мешка семечек и проповедует постулаты дзен-буддизма. (Кстати, деньги мужу и сыну на пропитание присылала из Сибири Марьяна; как это она умудрялась, никто не знал.)

А отчего поклонение-то? Откуда? С какой стати?

А от того, что все эти три года верный своему природному долгу Алиар-Хан Муртаев продолжал жить с сыном, кормил его как мог, а главное – учил Павлушу просветлению и азам дзен-буддизма. Как учил-то? Просто повторял и повторял каноны, не заставляя учить их или запоминать (мальчик еще был слишком мал), просто бубнил их, сидя рядом с большим мешком семечек, около которых всегда вертелся маленький Павлуша. Что-то в повадках Павлуши было восточное, он мог долго не отвечать на вопросы, которые задавали ему приходящие к Алиар-Хану паломники, а задавали они самые незатейливые, самые неглубинные вопросы, и Павлуша смотрел на прихожан так, будто они малые глупые дети, недостойные ответа, но уж когда наконец отвечал, то звучало это примерно так: «Сам, сам загляни в глубину заданного вопроса!» – или: «Никогда, никогда не вопрошай попусту, о невинный и почтенный дервиш!» – или: «Устанешь идти – становись быстрокрылой птицей!». Мало кто понимал, о чем говорил Павлуша, но слова его воспринимались как откровение, как примерно то, о чем часто взрослые говорят: «Устами младенца глаголет истина».

Марьяна узнавала и не узнавала своего сына (да и как было узнать, когда ему исполнился всего год, когда они расстались), но истинно благодарила своего верного мужа Алиар-Хана Муртаева за то чудо, которое он сотворил с маленьким Павлушей. С тех пор, как она крепко, даже крепко-жадно обняла сына после столь долгой разлуки, она больше, казалось, не отходила от него ни на шаг, он постоянно теперь был рядом с ней и не просто рядом – она всегда цепко держала его ладонь в своей руке, не отпускала ни на минуту. Куда она – туда и он, куда он – туда и она, словно боялась, что в любую секунду, в любое мгновение ее ждет новое расставание. А это просто немыслимо, невозможно представить...

Эта чудная картинка изумляла всех, кто сталкивался с их семьей: сидящий около мешка семечек Алиар-Хан Муртаев и Марьяна с сыном за руку (всегда, всегда за руку его держала) – даже когда в ванную уходила, тоже держала за руку; и даже когда спать ложилась, то ложилась не рядом с Алиар-Ханом (ну пусть и он иногда будет рядом, только с другого боку), а именно вплотную к Павлуше, судорожно держа его за руку. Причем это продолжалось и в четыре года, и в пять лет, и в шесть, и в семь, и даже в десять, и даже в одиннадцать. И куда бы она ни шла, где бы ни была, Павлуша должен быть ее частью, ее продолжением, и он так привык к этому, что, несколько повзрослев, называл ее не «мама», а – «матрица».

Когда она стала главным бухгалтером, то в знак благодарности взяла в помощники, т. е. своим заместителем, никого иного, как Муртаева Алиар-Хана, он ничего не понимал в бухгалтерии, но это не имело значения, он просто числился работником и регулярно получал деньги в кассе в день зарплаты; в знак благоговения перед восточным происхождением мужа Марьяна охотно брала на работу дворниками именно киргизов (со временем они появились

даже в нашем поселке, как и по всей шири родного отечества), причем именно киргизов выделяла, платила сполна и исправно, а вот других, включая и русских, могла легко обвести вокруг пальца.

В конце концов Муртаеву Алиар-Хану все надоело, а может, просто-напросто засиделся он на одном месте, а может, показалось ему, что не он теперь центр земли, а Павлуша, а может, иссякли в своем потоке его прихожане, – к тому же надоело быть одиноким в постели при живой жене (Марьяна отвыкла от него), – много всяких причин или предлогов найти можно – но главное было: исчез Муртаев из нашего поселка. Как появился внезапно, так и исчез, подарив Марьяне вундеркинда Павлушу.

Павлуша озадачивал многих; даже друзья Марьяны, которые, казалось бы, всегда были рядом, и те изумлялись красноречию и необычным афоризмам Павлуши. Его логике. Его тягучим медленным заунылым речам.

– Ну чего ты мать зовешь «матрицей»? – не раз в удивлении спрашивала Павлушу самая близкая подруга Марьяны – Ада Иванова.

– Вы понимаете, тетя Адель, чтобы ответить на этот сложный вопрос, надо многое в жизни узнать и понять.

– Например?

– Ну, например, вы должны задуматься: а что такое «матрица» вообще. Вы представляете значение этого многогранного слова?

– Ну, как тебе сказать. Матрица – это... это...

– Вот именно, дорогая тетя Адель: «Матрица – это...». Тут многие запинаются. А матрица – это нечто такое, что является формой, даже сутью продолжения рода. Матрица как бы отливает через себя себе же подобных, клонирует свое природное предназначение. И таким образом я напрямую являюсь клоном своей матери, и потому в знак глубочайшего уважения к ней и в знак понимания сути вопроса я никак не могу называть ее «мама», – она высшее, сложное, многогранное для меня существо, она – «Матрица». Понимаете теперь?

Ада Иванова только недоуменно пожимала плечами, ну а потом, в силу своего веселого характера, начинала хохотать, повторяя: «Нет, я дура, наверное, дура полная, ничего не понимаю в жизни...»

Вундеркинд Павлуша, в знак согласия, слегка, а именно по-восточному, склонял голову, как бы отпуская уважительный поклон: может быть, может быть, тетя Адель...

Или, например, Кирилл часто возмущался, когда вундеркинд Павлуша, казалось, ни к селу, ни к городу повторял одну и ту же фразу: «Аб семечко, аб семечко...»

– Так и я могу – постоянно повторять слова одного древнего мудреца: «Знай же, что на Землю огонь доставлен впервые молнией был...» Именно в этом суть вековой тайны жизни – в молнии, ибо от молнии родился огонь, от огня родилась жизнь.

– По-вашему выходит: не «Аб семечко», а – «Аб огонь»? А вы хоть знаете, дядя Кирилл, что обозначает латинское изречение: «Аб ово» («АВ ово»)? Должен доложить Вам, уважаемый дядя Кирилл, оно означает: «От яйца». Мой отец, почтенный Алиар-Хан Муртаев, всегда говорил: глубочайше ошибались римляне, не от «яйца» пошла-потекла жизнь, а от – «семечки». Ибо что такое яйцо? Это биологический продукт животного происхождения, а животные, как Вы, вероятно, догадываетесь, обожаемый дядя Кирилл, появились на Земле гораздо позже всего истинно сущего на нашей планете. «Семечко» гораздо более древний движитель-организатор жизни, включая и вопрос происхождения жизни, и если Вы истинно ученый человек, дядя Кирилл, Вы должны согласиться: не «аб ово», а – «аб семечко», то есть не «от яйца» все началось, а «от семечки». Семя – вот начало и продолжение загадки жизни, без семени и яйца бы не было, да и огня – тоже, ибо огню же не на чем было бы возжигаться.

– Тарабарщина какая-то! – махал рукой Кирилл, но на это и на другие возражения многих людей, которые вступали в словесную схватку с вундеркиндом Павлушей, у него был окончательный, сногшибательный довод-аргумент. Причем довод в виде вопроса:

– Итак – «Моритури тэ салютант»?

– Это еще что такое? – изумлялись оппоненты Павлуши, а он терпеливо и многоречиво объяснял:

– Когда-то Цезаря так приветствовали гладиаторы: «Идущие на смерть приветствуют тебя!» (Ave, Caesar, morituri te salutant!») К чему я это говорю, уважаемые мои друзья? А к тому, что, уходя от спора с истиной, вы уходите в небытие – в небытие познания смыслов жизни, просто-непросто вы уходите в смерть, так и не разгадав глубочайших тайн жизни. И ваше махание руками обозначает одно, а именно вот что: вы уходите в смерть, так и не подружившись со смыслами и тайнами сущего. Вы просто и покорно уходите в смерть, не сопротивляясь, не думая, не рискуя, не ропща, вы уходите туда многоотрядными и бестолковыми толпами, при этом успев-таки попрощаться со мной: «Идущие на смерть приветствуют тебя, о, дорогой Павлуша!».

Ну, и так далее и тому подобное...

Вообще-то Ада с Кириллом жили самым распрекрасным образом. В принципе им было глубоко наплевать, что там глаголет молодой вундеркинд Павлуша, как наплевать и на тех и на то, что о них вообще говорят и судачат.

Электрик Кирилл был выше любых интриг и сплетен.

Он и в физическом смысле оставался самым высоким среди всех, кто окружал его. Ему не нужно было ничего делать, чтобы понравиться женщинам. Ему нужно просто-напросто одно – быть. И этого достаточно. Хотя, вы не поверите, но он страдал от этого. Он не успевал всмотреться в женщин, разглядеть их, понять – хорошие они или плохие, вздорные или покладистые, нужные ему или совсем чужие; куда бы он ни вышел, где бы ни был, все женщины, буквально все, не сводили с него глаз, и не только ростом он брал, но и особой импозантностью, статью, даже надменным неприступным видом (но это только казалось; надменным он не считал себя, неприступным – тем более). К примеру, ты еще только идешь, а на тебя уже обратили внимание десятки женских глаз, ты ни о чем таком не думаешь, не мечтаешь, не настроен сегодня ни на что, но из множества глаз тебя обязательно выберет самая смелая женщина, и эта смелая всегда оказывается самая красивая; она просто-напросто подходит к тебе, знакомится, берет за руку и уводит жить к себе. Ей кажется, она уже не может без тебя, да и без того не может, чтобы не похвастаться перед подружками, какой у нее появился высокий статный необыкновенный мужчина, и ты как сомнамбула, как баран идешь на заклятие. Гуляешь ли ты по улицам, едешь ли в автобусе, или вот выбрался из автобуса и подошел к пораженному молнией тополию – рядом с тобой, тут как тут, оказывается волевая красивая женщина, которая говорит с тобой бог знает о чем (это для нее неважно), главное – обязательно берет тебя за руку и ведет жить к себе.

Что для них рост мужчины? Это что-то сакральное, необъяснимое, это как знак, как залог того, что потомство будет наивысшего порядка и смысла, это тяга к тому будущему, в котором все люди будут красивые, статные, высокие, дородные. Это выбор самки, которая жаждет лучшего продолжения себя и своего рода.

Однако Кирилл глубоко страдал от этого, как страдает агнец на заклании.

Он мечтал (вы не поверите!), чтобы жизнь как-то так извернулась, что он оказался бы маленького роста. Потому что высоких – выбирают и забирают сами женщины, волшебным образом, а маленькие, неказистые, чуть не с карандаш ростом – те сами присматриваются к женщинам, приглядываются, оценивают и начинают измором брать крепость. У них нет проблемы: тебя – выбирают, а не ты – выбираешь. Они, конечно, тоже мучаются, потому что

выбранные ими женщины артачатся, закатывают глаза, оскорбляют и унижают тебя («Тоже мне, Наполеон нашелся!»), даже когда идут под руку с тобой – все равно глазают по сторонам, что-то им все не так и не то (а то и стыдновато бывает перед подругами), но все-таки ты хозяин положения, ты сам взял эту женщину, ты ее завоевываешь, ты можешь гордиться собой.

Ничего такого не дано было нашему Кириллу. Уже пятеро детей росли от него у неких молодых красивых волевых женщин (правда, все ли они от Кирилла, даже женщины не знали), и, если уж Кириллу никакого дела не было до своих детей, то какое ему дело до Адиного сына Егорки, а тем более – до ее бывшего мужа Захара?

* * *

«Ты должен понять: я больше не могу так жить!» – «Как?» – «Постоянно подозревать, что ты мне изменяешь!» – «Я?!» – Роман простодушно округлил глаза. – «Ты даже спать со мной перестал». – «Как же я буду спать, если ты ложишься отдельно?» – «Потому и отдельно, что не могу переносить твои измены». – «Какие измены? С чего ты взяла? Что ты выдумываешь?» – «Роман, я не знаю, что с тобой происходит, но я чувствую – ты совершенно остыл ко мне. Я тебе не нужна. Антошка не нужен. Тебе, оказывается, никто не нужен. Только девки твои, которых ты раскатываешь на автобусе.» – «Да я работаю! При чем тут – «раскатываешь». О чем ты говоришь?» – «Думаешь, я не знаю? Думаешь, я слепая? Когда я возвращаюсь из города, тебя никогда нет дома. А раньше ты меня ждал, готовил ужин, накрывал стол свежей скатертью, ставил вазу с цветами». – «Да мне сейчас приходится в две смены работать. Напарник заболел». – «Или напарница? Приболела там, а ты ходишь, ухаживаешь за ней, постельку мягкую стелешь?». – «Да что ты выдумываешь?! Какая напарница? О чем ты?». – «Короче, дорогой, ты должен знать: я подаю на развод».

Избушка Азбектфана, покосившаяся, почерневшая, изъеденная короедом, спряталась в сосново-еловом буреломе, недалеко от Бобрино омути и реки Полевушки. Останавливались в ней нынешние путники редко, опасаясь, как бы в какой неурочный час она не завалилась и не накрыла их смрадным прахом. Вот и Егорка, самый любопытный среди друзей-пацанов, даже он побаивался в одиночку открывать скрипучую, покорёженную дверь, да и летучая мышь могла оттуда выпорхнуть, обдав тебя пылью и затхлостью; а вот вместе с отцом, с Захаром, Егорка смело заглядывал в избушку и даже забирался на скрипучие, прогнившие полаты, зная от отца, что когда-то на этих полатах устраивал свое лежбище загадочный и страшный старик – Азбектфан. Ходили о нем из глубины времени тяжелые слухи, что не просто лесником он был и сторожем, а прятался здесь от своих несмываемых грехов. Будто не одну душу загубил, и не только в военное лихолетье, а и позже, в мирные годы, и все из-за какой-то грешной любви. Каких только легенд не ходило в поселке об этом загадочном старике, одни защищали его, так как грехи его были связаны с роковыми страстями – любовью, а другие плевались, услышав его имя, потому что душегуб он и есть душегуб: из-за него невинные люди погибли, да и немало этих людей, а сам он, виноватый во всех смертных грехах-наваждениях, выходил из передрыг чуть ли не герой.

Захар с Егоркой устроили себе костерок поблизости от азбектфановой избушки, варили наваристую уху из окуней и ершей; не раз и не два устраивались они здесь, когда Егорка при- бежал к бабушке Тоше – повидаться с отцом, и вот почти в каждый приход Егорки они зарос- шей тропой пробирались к избушке Азбектфана, словно воскрешая его дух, потому что и раза не было, чтобы Егорка не расспрашивал о нем у отца, а потом уходили подальше от Бобри- ного омути, к реке Полевушке, ловили в ней откормленных сизых пескарей и расставляли по берегу жерлицы: тут пескарь для насадки живца идет первым номером. Щука на пескаря жад- ная, потому что он долгоживущий и юркий, как угорь, – щуке только это и надо: чтоб пескарь

сверкнул боком, ударился в бега – тут она хватить его, и застрял бедняга вместе с тройником в зубастой пасти безжалостной охотницы.

Говорили о том о сем, о чем только не переговоришь за долгую ночь у живучего костра, а тут как-то Захар вспомнил, хлопнув себя по лбу:

– Слушай-ка, ты все время про Азбектфана спрашиваешь. А у меня ведь книжка про него есть.

– Про Азбектфана?

– Ну да. Там, на Красной Горке, у матери Тоши. Книг-то у меня навалом разных, сам знаешь. Я все читаю, и налево, и направо, и вдоль, и поперек, а тут запаматовал. Точно, есть такая книга. Вроде и название у нее: «Ловушка для Адама и Евы».

– Про Азбектфана? Об избушке? О наших краях?

– Ну да. Нет, как-то она по-другому называется... Ага, вспомнил: «Огонь небесный». Там один наш писатель, уральский, да что уральский – наш, местный, забыл его фамилию, он родом-то из нашего поселка, только теперь далековато живет, чуть ли не в Москве, вот он и написал про Азбектфана. Всё в подробностях, чин чинарем. Так и назвал книгу: «Огонь небесный». И собрал там разные легенды, были, мифы. Ну, и про Азбектфана нашего тоже.

– А ты не напутал случайно?

– Точно говорю. Сам знаешь: о чем мудрый Захар сказал – то и проверять не надо! Запомни, сынок!

– Вот, хочу вам почитать кое-что, – показал Егорка на книгу.

– А что это? – удивились его друзья: Антошка и Любомир.

– Как раз то, что надо. Будто про нас написано. Слыхали?

– Прямо про нас! – рассмеялись ребята.

– Ну, там пишется про трех пацанов, которые на нас похожи. И еще – про страшного Азбектфана. Вот, слушайте!

– Ну, давай!

«А ночь была хороша, – начал читать Егорка, – не холодная, не росная, и такая звездная, раздольная, что долгое время, задрав головы, в упоенном удивлении и сладости стояли все трое и смотрели на мерцающие, как бы кипящие звезды в крошечности небесного купола. Отчего это здесь, в лесу, все было другое – и небо, и звезды, и звуки, и сам свет, истекающий от звезд, и душа другая, тихая, чуть испуганная, восторженная, будто очнувшаяся ото сна, проклюнувшаяся из сумеречности телесной жизни».

– Что-то тут не очень понятно, про эту сумеречность телесной жизни, – вздохнул Антошка.

– Ты слушай дальше, – нетерпеливо продолжал Егорка, – тут и правда будто про нас: «... хотя чему тут удивляться: вот ночь, вот звезды, а вот внизу трое мальчишек сидят у костра, тоже как три святающихся звездочки, если смотреть на них сверху, с небес, как они смотрят вверх, в небеса».

– А что, похоже, – тихо-мечтательно улынулся Любомир.

«... И вот правда, – продолжал читать Егорка, – если взглянуть на ребятшек сверху, со звезды, такая дивная картина откроется. Темный лес дымно и сумеречно растекается в безбрежные стороны, пепельная лента реки извивается то там, то сям ласковой змейкой... а вот здесь избушка Азбектфана прикорнула к реке, всё вокруг звенит спелостью и травным соком, а посреди раздолья, как звездочка на небе, полыхает огнистая точка мальчишечьего костерка, у которого полукругом расселись ребята...»

– Ну, это точно – про нас! – удивлялся Антошка.

– Теперь слушайте дальше, про страшного Азбектфана, он тогда лесником был, и избушка эта его была. Пацаны-то к нему приходили (один из них – внук Азбектфана), так

страшенный Азбектфан прогнал их: нечего глаза мозолить да выпрашивать, чего не положено знать. А у Азбектфана тайна была...

– Что за тайна-то? – прошептал Антошка.

– А тайна вот какая. Был в нашем поселке Сытин такой, толковый мужик один, ушел на фронт. А в Северном у него невеста осталась, Тося ее звали. Сытин сначала ранен был, контужен, потом в плен к немцам попал, как сгинул. Не дождалась его Тося...

«Когда война развернулась, – написано в книге, – Азбектфан вошел в страшную силу. Не в том дело, что он мужик, это само собой, а что он лесник, лесовик, у него лошадь, у него дрова, и если вспахать кому, убрать картошку или если тех же дровец на зиму запастись – к кому пойдешь, кому в ноги поклониться? Бабы жили поначалу суровые, недоступные, злые, позже глаза повылинили у них, блеск излучился, а голод и страх за ребятишек въедался в глаза все глубже и глубже, так что если придет какая, попросит чего, то после делай с ней что хочешь, она безучастная, только б детей поднять на ноги да самой не сгинуть и чтоб мужика на фронте не убило... Все давно надломились, одна Тося гордой жила: ждала жениха Сытина... А хороша она была, огневая, мимо пройдет – что ветер прошумит...»

– Ну ладно про этот ветер, – махнул рукой Антошка. – Ты по делу читай, что дальше-то было.

– А то и было, что Тоська сломалась (думала, убило Сытина на войне), и стали Азбектфан с Тосей жить как муж и жена. «А какая деваха была, – пишется в книге, – донный вот камень в речушке таким бывает, когда солнышко на него падёт: каждая округлость играет, каждая изгибинка манит, каждая линия ум ворожит...»

– Про изгибы эти нам ни к чему, – резонно заметил Любомир. – Ты по существу рассказывай.

– А по существу так было: вернулся Алексей Сытин живой, пришел к страшному Азбектфану в избушку. «Когда за столом сидели, слов мало говорили, – пишется в книге. – Алеша глаз не сводил с Тоси – поверить не мог, что она жена Азбектфана, чужая стала. Тося долго не могла ответить ему взглядом. Стыд жег. А когда ответила, слов уже не нужно было, оба – раскрасневшиеся, разгоряченные, и криком кричит душа каждого: люблю!»

– Опять про эту любовь, – махнул рукой Антошка. – А по делу... что было по делу?

– А то и было: убил страшный Азбектфан Алешку Сытина. И ничего ему не сделали!

– Как это? – изумился Любомир.

– А так. Тося беременная была. И не захотела, чтоб судили и казнили страшного Азбектфана. Алексея уже не вернешь, а как она одна будет без мужа и отца поднимать ребенка? Взяла грех на душу. Показала: это, мол, Алексей хотел убить страшного Азбектфана, а Азбектфан только защищался.

– Ну да?

– Вот тебе и «ну да»... «Но настигла мука Тосю, – пишется в книге. – Иссохла, почернела Тося в жизни». Все больше в поселке жила (родив дочь), а страшный Азбектфан – здесь, в лесу, в избушке... «Не любят Азбектфана в поселке, да он живет-поживает, оброс легендой, жену, мол, спас от смерти, а про Алешку одна туманная даль: или вовсе забыли, а если и вспомнит кто, напряжет память, так и махнет рукой: насильник, мол, шлепнули его – туда ему и дорога»...

– Чего тут интересного-то, никак не пойму? – нахмурил лоб Антошка.

– Непонятно ему... В книге прямо говорится: неправдой и ложью людей во мрак беспя-мьности вгоняют. Навсегда и навечно. Вот что страшно...

– Ну, к нам это не относится...

– Как бы не так, ко всем относится. Вот погляди, как писатель дело закругляет. Когда страшный Азбектфан умер, старуха Тося часто сидела у его могилы, как сидела здесь годы и годы... «А когда она встала однажды, поднялась с пригорка, уже первая звезда проклянулась

в небе. Поднялась старуха, поглядела на звезду, пошептала чего-то и пошла. И шла, и думала: ничего вернуть нельзя, и даже звезда, которую она разглядела в небе, и та казалась ей черной звездой Азбектфана».

– Чего-то я не пойму про эти черные звезды, – опять вздохнул Антон.

– А они бывают разве – черные звезды? – обвел всех испытывающим взглядом Егорка. – Они ведь светлые, яркие... А значит – бывают, когда ты черные дела вершишь.

– Не-е, я теперь в избушку этого страшного Азбетфана – ни ногой, чего мне в ней делать? – испуганно проговорил Любомир.

– Ладно, не бойся. Вместе-то нам ничего не страшно. Главное – высвободить речку, рыбье царство и Бобриный омут...

«Надеюсь, ты понимаешь, что после развода не можешь претендовать на долю нашего с Антоном жилья?» – «Понимаю». – «Так что давай разойдемся по-мирному». – «А что случилось-то? Что вдруг за спешка такая?» – «Ничего, кроме того, что ты изменяешь мне. Все очень просто». – «Ты все это выдумала. Какая измена? С кем?» – «Конкретно с кем, я, конечно, не знаю. Но ты давно охладел ко мне. Я это чувствую. Ты даже спишь, повернувшись ко мне спиной.» – «Как же мне не отворачиваться, если ты с раздражением, с ненавистью отталкиваешь любые мои попытки хотя бы обнять тебя. Не говоря уже о другом...» – «Причина всё та же – твои измены». – «Да не в изменах дело. Ты сама разлюбила меня. Если вообще любила. Тебе было удобно поднять меня из грязи, отмыть, отчистить, обути и одеть на свой лад, ты устала быть одна после смерти мужа, тебе тяжело было поднимать Антошку на ноги, тебя страшило будущее, да и настоящее тоже, а тут подвернулся я, грязный, неотёсанный милиционер-сержант, обожающий тебя, даже и не представляющий, что можно просто подойти к тебе и о чем-то спросить, просто поговорить, – ты для меня была богиней, существом высшего порядка, – и вот ты снизошла до меня, подняла из грязи, и как я был тебе благодарен за это! Я был на седьмом небе от счастья. И, конечно, служил вам с Антошкой верой и правдой, даже и не помышляя, что когда-нибудь всё это может рухнуть. Ты уезжала и уезжаешь в город, иногда на день, иногда на два, а в последнее время и на всю рабочую неделю, а мы с Антошкой остаемся вдвоем, я готовлю еду, стираю белье, занимаюсь хозяйством, огородом, чиню и подлатываю заборы, рухнувшее любимое твое крыльцо, каждый день жду тебя, не переставая обожать, а ты возвращаешься домой холодная, властная и чужая, по любому поводу недовольная, всегда ворчащая и с разными претензиями ко мне, а я все равно обожаю тебя, ты должна понять, что...» – «Я все, все понимаю, даже и то, что ты так обожаешь меня, – тут она усмехнулась, – что завел себе девок на стороне!» – «Никого я не заводил! Тебе просто удобно придумать все что угодно, лишь бы избавиться от меня. Я надоел тебе. Ты устала от меня. Ты устала от всех своих проблем. Ты устала ухаживать за могилой мужа, и тебя это страшно угнетает, потому что он столько принес тебе горя и зла, он оставил у тебя на руках сироту Антошку; и это и многое другое – всё опостылело тебе в нашем поселке, все напоминает о трудной тяжелой твоей доле вдовы, а самое главное: ты поняла, что теперь я тебе не нужен, я чужой для тебя, я был нужен, когда мы вместе с мальства поднимали сироту Антошку на ноги, а теперь он уже большой, он настолько большой и взрослый, что в свои одиннадцать лет твердо определил свою судьбу: буду только журналистом, буду как дядя Валентин, Валентин Семенович, – искать правду, истину, буду защищать людей, поддерживать их в любом горе или в любых трудных проблемах...» – «Ну, нагородил, служивый, напридумывал за Антошку... ты сам непроходимый романтик, поэтому хочешь видеть Антона таким же, каким видишь себя – но только в мечтах своих, а не в делах. Ведь ты совсем, совсем другой, чем рисуешь тут картинки передо мной...» – «Какой же я?» – «Сказать тебе правду? Ну что же... Ты инертный, безынициативный, не в меру покладистый, ищущий женской похвалы, слабый на чужое лестное о тебе слово... Да и ленивый ты, хоть можешь и работать на десяти работах, потому что работаешь

по принуждению, а не по призванию. Прикажи я тебе: иди туда – идешь покорно, скажу: пой песни – поешь с азартом и упоением, бросай милицию – уходишь в шоферы (потому что там гораздо больше платят)...» – «Но ведь это я для тебя, для вас же стараюсь... ты сама меня к этому подталкивала». – «Да, я подталкивала. И везде и всегда подталкиваю. А ты сам? Чего ты сам хочешь? Какую личную судьбу строишь? Судьбу женского подкаблучника? Судьбу служаки-милиционера, который резво козыряет жене по любому ее капризу?» – «Вот я и говорю: я тебе надоел. Ты устала от меня. Разлюбила. А скорей всего – и не любила никогда. И поэтому придумала разом решить свои проблемы: меня вышвырнуть из вашей жизни. Продать квартиру и раствориться с Антошкой в большом городе, начать жизнь с нуля, с нового листа. Я тебя понял, я все понял, хоть ты и считаешь меня беззубым романтиком и никчемным человеком». – «Ну, мы можем так препираться хоть до второго пришествия, а все равно не пойдем друг друга. Я развожусь с тобой и предупреждаю: от нашего с Антоном жилья ты не получишь и метра! Да, мы продаем квартиру и уезжаем в Екатеринбург, но тебя это не касается никаким боком». – «И тебе не жалко меня? Не жалко, что я остаюсь, как брошенный пес, без тепла, без жилья, без семьи?» – «Вот именно на это, как все мужики, ты и рассчитывал всю жизнь: на бабскую милость. Нет, дорогой, займись теперь сам своей судьбой. Хватит мне тянуть на себе вашего брата-мужиков – или пьяниц, или тряпок, или изменников, – сыта по горло!»

* * *

Эта традиция поддерживалась семьями каждый год: первого июня, в день Защиты детей, они делали совместную вылазку на природу подальше от Бобрино омута, поближе к реке Полевушке. Растягивали на берегу туристическую палатку, приносили с собой кто что мог: закуску, выпивку, мясо для шашлыков, салаты, фрукты, ну и все такое, разжигали костер, и начиналось пиршество. Четыре семьи: Ада с Кириллом (Захар давно был не в счет), Марьяна (естественно, без Алиар-Хана Муртаева, который растворился-исчез из поселка), «мадам Нинон» с Валентином Семеновичем и Верочка с Романом Абдурахмановым (они хоть и развелись, и даже Верочка успела продать квартиру, все-таки пришли на эту прощальную для них трапезу вместе). Ну и, естественно, дети-пацаны тоже были с родителями: отдельно устраивали себе костер, пекли до углистой черноты картошку, запивали ее ароматным топленым молоком, расставляли в округе удочки и жерлицы.

А ведь наступило уже лето, первый день лета! После зимы, а затем и после затяжной дождливой весны пришла наконец благодать, солнце пробивалось сквозь орешник и густую черемуху мягкими теплыми лучами; наверху, где-то в кронах молодого дубняка поцвиркивали то ли синицы, вернувшиеся (после зимних будней в городах и поселках) в свои заповедные лесные края, то ли даже чечетки, которые в последние годы совсем перестали прощаться с уральскими просторами и, облюбовав какую-нибудь особенно раскидистую березу, шныряли там среди веток, ища вкусные почки; но почки еще только-только начинали набухать, не пришло еще время побаловаться чечёткам любимым их лакомством.

Под шашлычки, под вино разгораются постепенно откровенные разговоры, а то и горячие споры. О том, как мы живем, что с нами происходит или, например, о том, как мы относимся к природе, которая нас кормит, а мы разве отвечаем нашей кормилице сыновней благодарностью? Вот, к примеру, взять хоть наш Бобриный омут, который как образовался-то? А так, что когда-то облюбовали один из двух рукавов Полевушки бобры, год, два, три, много лет – строили здесь свою запруду. Валили сосны, осины, березы, даже дубы, тащили валежник, кустарник, затыкали дыры и пробоины, но Полевушка вновь и вновь побеждала. Река быстрая, глубокая, полноводная, а главное – строптивая (говорят, еще в прошлом веке местные крестьяне-промысловики пытались изменить ее русло, заставить объединить рукава в одну стремнину, – не получилось у них), а бобры вновь, десятки лет возводили новую плотину, без своего

царственного омута не было для них бобриноного продолжения рода, и вновь плотину сносило бурным потоком, но бобриная смекалка, упорство и даже какое-то безумие (с человеческой точки зрения) в конце концов одержали победу; возвели они свой омут-водоем, а Полевушка с тех пор текла только одним руслом-рукавом.

Но годы шли, долгие годы, и что в конце концов случилось? А случилось вот что: омут стал заиливаться. Чем больше он заиливался, тем больше задыхалось рыбы долгими уральскими зимами под крепким льдом; весной, когда сходил ледяной панцирь, дохлая рыба кишмя кишела, накрывая весь омут тлением и гнилью, далеко вокруг отравляя прибрежный воздух; бобры не выдерживали, начинали покидать обжитые места и уходить вверх по течению реки, искать новые изгибы Полевушки для строительства другой какой-нибудь плотины... Организовывали даже рейды: рыбаки, школьники, волонтеры приходили зимами к омуту, долбили лед ломками, сверлили коловоротами, били пешнями, а затем черпаками выуживали ледяную крошку, – ничего не помогало: все больше задыхалось рыбы в Бобрином омуте, все дальше разносился запах и тление гниющей рыбы.

– Да сколько раз я писал об этом в газете! – восклицал Валентин Семенович.

– Пиши, пиши, – подначивала его жена, «мадам Нинон». – Не писать надо, а спасти рыбу. Построили бы тут рыбзаводишко местный, он бы быстро очистил омут, а рыбу бы продавал – хоть свежую, хоть замороженную, хоть консервированную...

– Тебе лишь бы продавать. Главное – продать все на свете, иметь навар, а до живой природы дела нет.

Тут кто-нибудь еще (к примеру – Кирилл) предлагал совсем иное:

– Здесь кардинальной идеи не хватает. Идеи огня и молнии.

– Какой еще идеи огня и молнии? – удивлялись друзья.

– На месте запруды нужно создать настоящую плотину и вознести на ней электростанцию.

Огонь как свет и свет как огонь (как истина жизни) опять спасут человека.

– Ну, заладил: огонь, свет, электричество, ты ещё скажи – молния спасёт человечество.

– И спасет. Не спасет, а уже спасла. Не будь молнии, не было бы огня, а без огня – жизни, а без жизни ни нас с вами, ни этой рыбы, ни этой реки, ни этой проблемы – ничего бы не было.

– Да что Вы всё о мировых проблемах. Вот, посмотрите, дети наши: не кажется ли вам, дорогие друзья, что они у нас – брошены на произвол судьбы, как и погибающие бобры, как и задыхающаяся рыба, как и...

– А причем здесь дети? – рассмеялась Ада (она изрядно захмелела, и весь этот разговор казался ей смешным и забавным). – Дети у нас прекрасные, правда, Марьяна? Один только Павлуша чего стоит: таких вундеркиндов еще поискать на свете. А мой Егорка? Пусть молчун, но праведник, главное. А Антошка? Будущая звезда журналистики, он еще задаст перцу всем этим бюрократам, которые не хотят решать нашу местную проблему с плотиной, бобрами и... и дохлой вымирающей рыбой. Вообще-то, Верочка, вы зря развелись с Романом. Такая пара! Как мы будем жить без вас, а наши пацаны – без вашего Антошки? Какая муха вас укусила?

Верочка с Романом подавленно молчали, каждый из них, как на дыбе, только думал: скорей бы закончилась эта мука, это пиршество, это прилюдное обсуждение их проблем. Хотя позже, когда Роман выпьет побольше, он тоже выскажет несколько своих заветных мыслей по поводу... ну вот хотя бы по такому поводу:

– Когда я был маленький, я все надеялся: вот вырасту – везде наведу порядок, повсюду будет справедливость, честность, порядочность, верность.

– Ну, куда хватил, – иронично обронила Марьяна. – Может, где и будет справедливость, только не в нашей дыре. В нашем государстве шутки плохи: или оно тебя, или ты его. По-другому не бывает.

– При чем тут государство? Я о личной ответственности говорю, о том, что каждый человек должен быть на высоте своего природного предназначения!

– Красиво, красиво, – усмехнулась Марьяна.

– Да, да, да, – засмеялась неожиданно пьяненькая Ада. – Красота, вот именно красота спасет мир. Так еще Достоевский говорил!

От малого костра, от детского, вдруг отделилась фигура Павлуши Муртаева, и, подойдя к взрослым, он наставительно произнес следующие слова:

– Дорогие старшие товарищи, должен внести в Вашу дискуссию одну существенную поправку. Вот вы о красоте говорите, о том, что Достоевский пророчил: красота спасет мир...

– Да, да, да! – восторженно захлопала в ладоши Ада.

– Так вот, уважаемая тетя Адель, я просто не могу не поправить вас, а вернее – хочу уточнить одну мысль. Всегда, везде и всюду тысячи людей повторяют одно и то же: красота спасет мир, красота спасет мир. Никакая красота, как эстетическая ценность, а не этическая, никогда и никого не спасет, и мир не спасет, ничто не спасет. Достоевский, заметьте, говорил не просто о красоте (и не повторяйте, пожалуйста, как попугайчики, его мудрую, но исковерканную людьми же мысль), он говорил: «Красота единения спасет мир», – понимаете? Не красота, а красота единения? И еще в одном месте он повторил эту мысль, только несколько на другой лад, а именно: «Красота Христа спасет мир», опять же, заметьте, не просто красота, а красота Христа. Для Достоевского: красота единения и красота Христа – это одно и то же, это этическая мысль, а не...

– Bravo, bravo, bravo! – захлопала в ладоши совсем пьяненькая Ада.

– За сим прошу откланяться, – важно кивнул Павлуша Муртаев и отправился к своим друзьям, к малому костру.

– Ты скажи, какой малец! Просто чудо! – продолжала восторженно хлопать в ладоши Ада.

– Да тихо ты! – оборвала ее «мадам Нинон». — Тут тебе не собрание на трубном заводе (Ада, кстати, именно там и работала, учетчицей готовой продукции), дай других послушать.

– Давай, давай тебя послушаем, – согласно закивала головой Ада. – Про платки, про шубы...

– Дались тебе эти шубы! Хотя первая потом будешь просить какую-нибудь особенную...

– Не буду!

– Да будешь, куда ты денешься.

– Девочки, не ссорьтесь. Я что хочу сказать. – Это уже голос Валентина Семеновича. – Я хочу сказать: вот Павлуша, вундеркинд, и я сомневаюсь, чтобы кто-то заставлял его читать или думать из-под палки, он сам по себе такой.

– А про Алиар-Хана Муртаева забыл? – не согласилась Ада. – Да с таким отцом будешь мудрецом, а что с нашего Захара взять, к примеру? Книжки все подряд читает, а понимает ли в них что? А главное – лень-матушка раньше него родилась, ничего ему не надо, лишь бы корочку сухую (причем материну) грызть да картошкой заедать...

– Вот-вот, никакого понятия ни об огне, ни о молнии, как о началах жизни. Мужик должен свой костер в жизни возжечь, своя правда должна возгореться у человека!

– Да подождите, друзья, не об этом я хочу сказать, – поморщился Валентин Семенович. – А хочу сказать вот что. Возьмем Павлушку. Самостоятельный. Мудрый. Рассудительный. А другие что же? Вот наш Любомир – тоже много читает. Много думает, анализирует (я это вижу и чувствую). А – молчит! Слова из него не вытянешь.

– Потому что не верит он взрослым, – неожиданно вступила в разговор Верочка.

– Как это?

– А так, – отрезала Верочка. – Что с нами разговаривать? Мы говорим одно, думаем другое, а делаем третье. Лицемеры.

– Вот, вот, правильно она говорит, – подхватил Роман (разговаривалась парочка). – Как посмотришь вокруг: кому верить можно? На кого опереться? Везде и всюду обман, предательство. Самые близкие, самые любимые – врагами становятся. Как же так? Почему?

– Ну, ты все в свою сторону гнешь, – махнула на Романа рукой Ада. – Обжегся – теперь на воду дуешь. Сам во всем виноват! – Ада, чувствуется, начала трезветь, мысли здравые произносила.

– Так о чем я хотел сказать? – продолжал Валентин Семенович. – Я, кстати, об этом даже в газете вопрос поднимал. А именно: почему наши дети не разговаривают с нами, почему отмахиваются от нас, молчат (извините), как партизаны?!

– Да о чем, к примеру, с тобой говорить? – укорила его жена, «мадам Нинон». – Он тебе вопрос – ты ему проповеди, он тебе второй – ты ему лекции, он тебе третий – ты (к примеру) о мировой революции. Ну, ладно, ладно – о мировой политике, о мировом положении... это одно и то же.

– А ты сразу давай кричать! Орать! Спорить! Доказывать! Нормально разговаривать не умеешь. Все на повышенных тонах, на истерике, будто тебя черти на углях поджаривают. Нет нравственного покоя в семье.

– Вот я и говорю – не о чем ему с нами говорить. Я – кричу, ты – лекции читаешь, хрен редьки не слаще.

– Хорошо хоть, понимаешь это.

– А знаете, в чем мне однажды, – тут «мадам Нинон» перешла на шепот, – в чем мне однажды Антошка признался? Ваш Любомир зарок дал: когда вырастет, ни за что не женится. Крик, шум, гам, для чего это? Зачем? Лучше одному жить...

– Вот, вот, – подхватил Валентин Семенович, – правильно он сказал. – Потому что в семье ни мира, ни лада. Задумайся об этом, Нина!

– Да ты сам задумайся! Здесь ведь речь и о тебе тоже. Как будто я на стену кричу – на тебя ведь кричу! Это ты выводил меня из себя: баснями о праведной и духовной жизни, которая наступит, как только твоя газетенка встанет горой на защиту человечества.

– Я же еще и виноват.... Видите?! – обвел всех возмущенным взглядом Валентин Семенович.

– А ты что, фон-барон какой-то? – поддел его Кирилл. – Тебя и критиковать нельзя? Подумаешь – журналист, а ни в огне, ни в молниях не разбираешься. Не знаешь, откуда есть живая жизнь пошла...

– Да ты сам фон-барон-фанфарон! – разозлился Валентин Семенович. – Придумал какую-то галиматью про огонь, про молнию, рассказывай вон свои сказки Аде, она тебя внимательно выслушает и по голове погладит.

– Чего-чего? – напрягся Кирилл.

Но тут выручила всех Ада. Как всегда, впопад и невпопад, весело рассмеялась, а вот слова сказала недурные:

– Мальчишки, не ссорьтесь. На каждого своей вины хватит. Кстати, о вине. Давайте лучше выпьем. Выпьем, выпьем и снова нальем! Ну, давайте?!

* * *

На следующий день Роман на автобусе повез Верочку с Антошкой в город. Автобус он выпросил у начальства, чтоб увезти кое-какую мебель Верочки на новую квартиру, а главное – чтоб растянуть неминуемое расставание с Верочкой и с Антошкой. Роман крутил баранку хмуро, сосредоточенно; Верочка, как ни в чем не бывало, отрешенно, а главное – очень спокойно и невозмутимо, смотрела за окно, один Антошка бесился в полупустынном салоне автобуса, прыгал с сиденья на сиденье, смотрел то в заднее, огромное, как у самолета, окно-экран, то пристраивался к боковым окнам: всё ему интересно и занимательно. Он толком еще не осознавал перемен, которые происходят в их семье (Верочка пока не объяснила ему, что в очень скором времени Роман уже не будет отцом, что и жить они не будут больше вместе, и что

вообще в реальности он и не отец никакой, а так... а главное, главное, что должен Антошка уяснить, зарубить себе на носу: больше никаких встреч с Романом, ни к чему; чем быстрее забудется Роман, тем лучше для всех: не надо будет рвать ничье сердце, так вот – Антошка еще не осознавал до конца, что случилось в их жизни, и поэтому резвился в салоне, как только мог.

После восемнадцатого километра Роман вдруг свернул с большака на лесную дорогу, которая вела в Дом отдыха Курганово.

– Ты чего это? Куда? – напряглась Верочка.

– Да так. Надо...

А надо ему было, чтобы они еще побыли вместе, и именно там, около Дома отдыха, где они не раз отдыхали всей семьей, где были, как ему казалось, счастливы.

Подъехав к зданию Дома отдыха, Роман вылез из кабины, деловито обошел автобус, попинал сапогом шины, – будто проверяя, все ли в порядке. Все, конечно, было в порядке.

– Ладно, ладно, поехали, – поторопила Верочка. – Знаю, чего ты завернул сюда.

– Знаешь?

– Знаю... Но былого не вернешь. Поехали!

Около Горного Щита (деревушка такая) Роман опять притормозил, вышел из кабины и вновь, как прежде, попинал по колесам автобуса.

– А здесь чего? – насторожилась Верочка.

– Ты не помнишь? – Она не ответила. – Здесь я впервые поцеловал тебя.

– О, господи!

– Для меня это было целое событие.

– Какой же ты романтик, господи! Чепуха все это, поцелуи, охи, обниманья... ты еще расскажи, где, около какого куста или моста, признался мне в любви.

– И этого ты не помнишь?

– Не смеши меня!

– А я помню. Это было на Чусовой, как раз около цветущего, благоухающего куста черемухи, весной...

– Батюшки, какие подробности! – И теперь она уже с какой-то даже злобой приказала ему: – Или мы едем дальше, или высаживай нас здесь: найдутся желающие подбросить.

Что было делать? Роман покорно передернул ручку передачи, и автобус сразу, на второй скорости, рванул вперед.

Через полчаса они въехали в город Екатеринбург.

В тот же самый день, ранним утром, трое пацанов-друзей – Егорка, Павлуша и Любомир – отправились к реке Полевушке, ко вчерашнему костерку. Взрослые накануне вчера утомили их своей болтовней, громкими восклицаниями, взаимными обвинениями, несбыточными проектами и той обычной чепухой, которая суть всякого праздного застолья.

Костерок быстро вспыхнул вновь (на вчерашних-то углях), ребята бросили в котелок крупные, надвое разрезанные картофелины, тройку луковиц, перец, лавровый лист, а когда картошка дошла до кондиции, бросили в варево несколько окуньков и ершей (со вчерашнего еще остались, захватили из дома). Уха дымилась, и по низким прибрежным травам, казалось, растекался ее наваристый запах, и не только по травам, но и по кустам – по орешнику с черемухником, да и по всей округе, конечно.

Чудом из чудес было то, что Павлуше удалось сегодня удрать от матери. Во вчерашнем гулянье Марьяна отравилась, лежала пластом дома с холодным мокрым полотенцем на лбу, охала и стонала (голова раскалывалась), но продолжала и лёжа цепко держать Павлушу за руку: «Не уходи, постой, побудь со мной... Куда ты? Что с тобой? Куда ты рвешься?»

– Матрица, ответь, пожалуйста, на один сакраментальный вопрос твоего сыночки: «Должен он держать свое слово или не должен?»

– Это смотря какое слово – заветное или болтовня, может?

– Разумеется, заветное. Вчера, на реке мы договорились с друзьями, что сегодня вновь соберемся у костра – для решения проекта большой всечеловеческой важности.

– Не пугай меня, сыночка! Какой проект? О чем ты? – Марьяна еще крепче вцепилась в руку Павлуши.

– Этого пока твой сыночка сказать не может. Это тайна, а то я буду предателем в глазах самых верных друзей.

– Но Матрице-то можно сказать? Хотя бы намекнуть?

– Матрица сама скоро узнает про всё. Нужно только философское терпение.

– Ничего страшного?

– Ничего.

– Ах ты, философ мой! Ладно, иди сегодня, сыночка, только не подведи меня. У меня сил нет не то что покормить тебя, но даже встать с постели. Но, пожалуйста, – недолго? Хорошо? Договорились? Поцелуй Матрицу!

Вот таким чудесным образом оказался на берегу Полевушки вместе с друзьями и Павлуша. Жаль, не было с ними сегодня Антошки, да тут случай особый – их семья переезжала в город.

Как только уха созрела, ребята вытащили рыбёшек из котелка на большую миску: всякий рыбачий охотник знает – начинать лакомиться нужно не с бульона, а с рыбьего хвоста, обглодать каждую косточку, обсосать каждую разваристую окунёвую головушку (с ершом, правда, дело сложнее, его обглаживать себе дороже: исколет тебя, как пиками).

Ели, мурлыча от удовольствия, хлебали наваристую юшку, налегали на черный хлебушек.

А между делом нет-нет да вставали и подходили к плотине, то один подойдет, то другой, будто примеряясь к чему-то.

Так и было.

Захватили они сегодня с собой несколько лопат, кирку и лом и, пока ели уху, поглядывали то на инструмент свой, то на плотину, то друг на друга. Заводилой, похоже, был Егорка, самый ухватистый и деловой из них, хотя и не любящий громких речей; Любомир – тот вообще всегда молчал, не то что бы не выражая своего мнения, а просто как бы говоря: «О чем тут думать? Всё и так ясно», ну, а теоретическую базу, естественно, подвел Павлуша. И вчера, и сегодня он примерно одну и ту же мысль развивал:

– Если вы успели заметить, друзья, взрослый тип человечества – ленив, болтлив и мечтателен. Прежде чем приступить к любому важному начинанию – этот тип настолько извернётся в словах, что почти полностью забывает, о чем только что шла речь. Взрослые – они больше дети, чем мы, потому часто и впадают в детство, а у нас мысли зрелые, без компромиссов. Пришло наше время. Время взрослых детей. Свободу природе! Свободу водной стихии! Свободу рыбному царству и всему живому миру!

– Ну, начинаем, друзья!

Идея у них была бредовая: сломать плотину. Освободить Бобриный омут от гниения и затхлости. Дать наконец рыбе свободу, чтобы она не задыхалась в омуте, особенно в зимние трескучие морозы, когда лед бывает толщиной в три лопатных штыка. Сколько уже было попыток, начиная с прошлого века, осуществить наконец эту затею, – всё прахом. Но что такое жизнь? Жизнь – это крепкий, мощный канат, который от времени все утоньшается и утоньшается, превращаясь постепенно в тонкий волосок. Волосок рвется – канат лопается, – и жизнь (такая мощная, крепкая, даже, казалось бы, вечная) надламывается. Жизнь исчезает. Жизнь уходит. Жизнь превращается в ничто.

Так и здесь. Егорка забрался на плотину, ползком с киркой на весу (кирка все же мешала) добрался до середины и, здесь, балансируя на слегка дрожащих ногах, поднялся во весь рост. Когда ему Павлуша скомандовал: «Бей!» – они, Павлуша с Любомиром, именно как глупые

дети, стояли у основания плотины; задачей своей они считали – растаскивать по сторонам отлетевшие куски плотины.

– Бей! – еще раз крикнул Павлуша, и Егорка со всего маха ударил киркой по плотине.

Вряд ли уж сила удара была такая мощная, просто пришло время, истончилась жизнь могучего бобриногo плотинного сооружения: вдруг плотина посыпалась, как игрушечный, как карточный домик. Видно, настолько уж она прогнила и изжила себя, что достаточно было легкого толчка – и по кусочку, по куску, по кусищу буквально на глазах обваливаться начала ветхая конструкция. А вместе с этим в образовавшийся пролом хлынула вода из Бобриногo омута: да что хлынула – не хлынула, а как будто водопад извергся сверху на дно бывшего русла Полевушки, на то дно, которое уже десятилетиями превращалось в пашню и где со временем, чуть в стороне, выстроились в ряд последние из последних домов на улице Миклухо-Маклая.

Егорку подхватил не водопад, он просто от неожиданности потерял равновесие и, взмахнув несколько раз руками, бросив кирку, камнем пошел вниз; и вот именно там, внизу, ударился головой о булыжник.

Умер он сразу.

А Любомир просто не умел плавать; стремнина подхватила его и закрутила в себе, он сразу наглотался затхлой воды, растерялся, запаниковал, еще больше хлебнул воды и камнем пошел на дно, хотя река долго еще рвала и метала его тело.

Умер он, видимо, в муках.

Дольше всех боролся за свою жизнь Павлуша: он умел плавать; он умел жить; он умел думать; он был очень умный; он был необыкновенный; он не мог поверить, что сейчас, вот сейчас он умрет, уйдет из жизни навсегда, он еще ничего не успел сделать, открыть, добиться; его несло и несло бурным потоком, то накрывая с головой, то давая ему передышку, но сил, физических сил, все-таки не хватило ему, и он утонул от бессилия, от отчаяния, от полного истощения.

Не сжалилась над ним жизнь.

Много событий утекло после того случая, многие вообще уехали из поселка. Оставили свои дома, родные могилы. Некоторые дома, когда река Полевушка разлилась в полную мощь, были напрочь затоплены, особенно те, которые стояли на окраине улицы Миклухо-Маклая.

Валентин Семенович с Ниной подались на родину Валентина в Саратовскую область, в город Балашов. Марьяна уехала к родной сестре Ульяне, в Сибирь, на Алтай. Статного, красивого и высокого Кирилла Семибратова увела от Ады какая-то очередная красавица, взяла его за руку и отвела, покорного, к себе домой. Ада (в память об Егорке) вернулась к Захару, больше не шалила с мужчинами, а смеяться перестала совсем. Жили они теперь на Красной Горке, у бабушки Тоши.

И только один бедный Роман Абдурахманов как бы слегка свихнулся с тех пор. Жилья у него не было, работу потерял (выпивать начал), и бродил он по поселку, как неприкаянный. Чаще всего ночевал в избушке Азбектфана, а как он там устраивался, одному богу известно.

Жалел его Захар, иногда приводил на Красную Горку, к матери Тоше. Подкармливал.

Вот такая история случилась на Урале, в небольшом пригородном поселке.

Ярославские страдания

В Ярославль Петров приехал в командировку.

Из окна гостиницы, в которой он остановился, был виден знаменитый Театр имени Волкова. И сам Волков, российский актер, стоял рядом с гостиницей. Естественно, не живой – в камне. Была середина осени; у подножия памятника всегда, в любое время дня и ночи, алели и краснели розы с гвоздиками: по всему чувствовалось, горожане чтят память прославленного земляка. Перед театром, перед памятником, перед гостиницей раскинулась просторная площадь, которая отчего-то воспринималась булыжной, хотя была обычной, асфальтированной. А булыжной она воспринималась по ассоциации – все вокруг отдавало стариной, древностью; даже кинотеатр – напротив гостиницы – с бесконечными афишами современной киногалиматии – и тот был архитектурно стар, в нем прежде наверняка было какое-нибудь Благородное собрание, купеческий клуб или что-нибудь в этом роде; не говоря уже о старинном парке, который простерся от площади во многие стороны; не говоря о древних строениях, с красивыми архитектурными излишествами, где нынче расположился городской базар; тем более не говоря о низких, не больше двух этажей, каменных домах, с дверями, зовущими то вниз, в подвалы, то вверх, по всевозможным витым лестницам – явное обиталище бывших ярославских купцов, торговцев, служащих разного ранга, – и где нынче уютно прижились разные кафе, закусочные, ателье и магазины.

В общем, гостиница, где устроился Петров, находилась в прекрасном месте – и по своему расположению, и по тому обзору, который открывался из окна на городские архитектурные пейзажи.

А Волга неподалеку? А прекрасные ажурные громады мостов? А затейливые пристани? А неприступные стены Спасо-Преображенского монастыря? А сам монастырь, весь его мощный, шестнадцатого века, архитектурный ансамбль? Нет, что ни говори, устроился Петров в Ярославле превосходно.

Вот и звонок, который раздался в номере Петрова, был ласково вежлив, предупредителен.

- Как устроились, Владислав Юрьевич?
- Превосходно, – искренне, бодрым тоном ответил Петров. – Просто отлично.
- Можно за вами заезжать?
- Да, пожалуйста.

Через десять минут перед входом в гостиницу с мягким шипом остановилась черная «Волга». Моложавая женщина, в узко обтягивающей бедра юбке, в таком же жакете, который покроем своим подчеркивал стройность, изящность и деловитость хозяйки, вышла из машины (Петров видел все это в окно) и взглянула наверх, как бы решая: подниматься или подождать товарища Петрова здесь, внизу? Петров решил не утруждать Елену Васильевну, накинул пиджак, подхватил «дипломат» и вышел из номера. Где-то между первым и вторым этажом они встретились с Еленой Васильевной на лестнице, улыбнулись друг другу – Петров открыто, искренне, Елена Васильевна – приветливо, но несколько официально, конечно.

– А я уж решила...

Но Петров еще раз улыбнулся ей:

– Ничего, ничего... Я увидел – вы подъехали, пошел вам навстречу.

В машине Петров в первую очередь поздоровался с водителем, тот вежливо кивнул в ответ. Петров никогда ни с кем не панибратничал, но и ни на кого не смотрел свысока – это была даже не выучка, это жило в крови. И люди относились к нему соответственно – с уважением, без похлопывания по плечу, но и без излишней скованности. Это относилось как к большому начальству, так и к простой горничной или уборщице в номере. Высокого роста, с

открытым лицом, подтянутый, стройный, в командировках – всегда в джинсах и темно-коричневым замшевым пиджаке, с «дипломатом» в руках, Петров на всех производил одинаково хорошее впечатление. При этом он вызывал в людях доверие – тоже немаловажная черта при работе Петрова. Человека он обычно выслушивал внимательно, до конца, никогда не перебивал и не подталкивал к излишней откровенности; привыкнув к Петрову, к его мягким деликатным манерам, которые иногда окрашивались легкой и не обидной иронией, человек сам все рассказывал о себе, делился иной раз такой сокровенностью, что позже невольно стыдился обнаженности своих тайн.

А вот тайнами людскими Петров иногда злоупотреблял. То есть пользовался ими. Но – во имя искусства. Ибо искусство, считал Петров, это когда тайна одного открывается для всех. Открой в человеке тайну, но так, чтобы она была интересна другим, – и ты художник.

А Петров хотел быть художником. Он был журналистом, но мечтал стать художником.

Ведь художник – единственный человек, побеждающий время.

Так думал Петров.

Когда они приехали к начальству, разговор состоялся короткий, деловой, с пользой для обеих сторон.

– Не буду скрывать, – сказал Петрову собеседник, – нам очень лестно, что всесоюзный журнал, который вы представляете, обратил внимание на наш опыт. Да, у нас по этому вопросу дела действительно обстоят несколько лучше, чем где-либо в республике. От всей души желаю вам удачи в поисках и подборе материала. По всем вопросам вашим помощником и гидом будет Елена Васильевна. Надеюсь, вы уже познакомились?

– Да, конечно, – кивнул Петров. Кивнул важно, с достоинством.

– Ну, что ж, прекрасно! Можете приступать к работе. В случае необходимости – прошу не стесняться, обращаться лично ко мне.

– Спасибо. – Петров крепко пожал протянутую руку.

На этом беседа закончилась, Петров с Еленой Васильевной вышли из просторного кабинета.

– С чего начнем? – деловито поинтересовалась Елена Васильевна.

Петров обратил внимание, как неестественно, напряженно чувствовала себя Елена Васильевна в кабинете. Бойтся, подумал Петров. Почему они всегда боятся начальства? Было немного обидно за эту стройную, изящную, полную собственного достоинства женщину.

– Познакомьте меня, пожалуйста, с каким-нибудь инспектором по делам несовершеннолетних, – самым дружеским тоном произнес Петров.

– Я уже думала об этом. Инспектор Лихачева вам подойдет? Лучший инспектор области. Искренне рекомендую!

– А нет ли у вас такого инспектора... ну, скажем, экспериментатора? Или которого чаще других ругают – за срывы в работе, за всякие там идеи, прожектёрство?

– Как же, есть. Бобров. Виновата – старший лейтенант Бобров Василий Лукич.

– Так, так... – обрадовался Петров. – Нельзя ли с ним познакомиться?

– К сожалению, – развела руками Елена Васильевна, – вам не повезло. Он в отпуске.

– Жаль, – огорчился Петров. – Ну, а еще кто-нибудь вроде Боброва?

– Нет, такой у нас один. Такого нам одного хватает, чтоб голова от него шла кругом. Впрочем, простите, человек он, конечно, интересный, хороший. Но – неугомонный. Со срывами, как вы правильно выразились.

– А в чем срывы?

– Да он может, например, ради эксперимента переодеться в гражданское (он на вид совсем мальчишка) и пойти вместе с подшефными по улицам.

– В самом деле? – искренне удивился Петров.

– Конечно. Подходят к кому попало, задираются. А рядом, представляете, Бобров!

– Гм, любопытно, – все больше интересовывался Петров.

– Теперь вопрос – для чего он это делает? Сколько раз вызывали его, внушения делали, выговоры давали. А он за свое. И знаете, что он говорит, на чем настаивает?

– На чем?

– На том, что в хулиганстве не хулиганы виноваты, а добропорядочные граждане. Добропорядочные с виду, но с отсутствием всякого гражданского и человеческого мужества. Редко кто из людей отваживается противостоять хулиганам, бороться за свое достоинство. Большинство – сразу пасуют. Хулиганы – стихийно организованный народ, организованность их неосознанная, она – в наглости, в хамстве, во взаимной поддержке. Я, говорит Бобров, изучил психологию хулигана. Он – наглец, но потворствуют ему те, к кому он пристает. Нужно не хулиганов перевоспитывать, а воспитывать в людях человеческое достоинство, мужество, смелость, гражданскую зрелость.

– Мысли любопытные, – произнес Петров.

– Мысли – да, любопытные. А методы? Методы, которыми Бобров достигает свои выводы? Простите меня, но это уже крайности – инспектору выходить на улицу с хулиганами!

– За это и снять, наверное, могут?

– И это было. И снимали его. И разжаловали один раз. А потом жизнь берет свое. В районе хулиганов – пруд пруди. Как только Боброва убираем, в районе Бог знает что творится. Поставим на место – тишина... Только опять какие-нибудь фокусы начинаются...

– Да, интересный человек. Он когда, Елена Васильевна, из отпуска возвращается?

– Только неделя, как ушел. Так что не скоро...

– Ну что ж, – сказал Петров. – Поедем для начала к лучшему инспектору области. К Лихачевой, так, кажется?

– У вас прекрасная память, – улыбнулась как будто с облегчением Елена Васильевна.

– Профессионализм, – небрежно обронил Петров. Хотя ему всегда нравилось, когда другие люди восхищались его памятью.

Вышли из здания, сели в машину.

– К Лихачевой, – скомандовала Елена Васильевна.

Шофер кивнул. Вероятно, эта Лихачева была отработанным номером. Небось всех журналистов к ней возят. Петров заранее обреченно махнул рукой, но поехать согласился – надо же с чего-то начинать, за что-то зацепиться.

Задание у него было – написать очерк о хулигане, который исправился. О матером хулигане. Сделать что-нибудь вроде «Исповеди бывшего хулигана». Чтоб пронять читателя до печени. «По всей стране ширится кампания борьбы с хулиганством, – сказал на очередной летучке главный редактор журнала. – Ответственные товарищи проанализировали ситуацию. Оказалось, дела по исправлению хулиганов очень хорошо идут у наших соседей, в Ярославской области. Предлагаю отделу нравственного воспитания срочно направить корреспондента в Ярославль. Очерк нужен заразительный, яркий. Мы ведь начинаем первые!»

Так Петров оказался в Ярославле.

...Лихачева, конечно, сидела на месте, в своем кабинете, в парадной лейтенантской форме, которая, кстати, очень шла ей, при всех знаках отличия, с орденом «Знак Почета» на груди, приветливая, женственная, краснеющая при пристальном взгляде на нее. Впрочем, и не такие, как Лихачева, краснели, когда на них обращал внимание Петров. Избалованный ими, Петров относился к слабому полу несколько снисходительно, иногда – даже с легким презрением, чем еще больше нравился женщинам. Ну, эти парадоксы, как говорится, давно известны.

Петров слушал Лихачеву внимательно, делая вид, что подробно вникает в ее рассказ, на самом деле для себя он сразу сделал вывод: не то... Для яркого, самобытного очерка ему нужен был материал необычный, главным героем должна быть не эта вот милая, краснеющая женщина, хотя и лейтенант, хотя и с заслугами, а какой-нибудь взбалмошный Бобров, идущий

вместе с хулиганами по улицам Ярославля... Вот, черт, не повезло в самом деле, что Бобров этот в отпуске!..

– А скажите, Валентина, как вы относитесь к опыту вашего коллеги старшего лейтенанта Боброва? – спросил словно совсем невпопад Петров.

Лихачева невольно переглянулась с Еленой Васильевной.

– Дело в том, что я начинала работу помощником Василия Лукича. Как же я могу относиться к нему? Конечно, с уважением.

– Нет, не к нему лично, а к его опыту работы? – настаивал Петров.

– Мне трудно, конечно, ответить на этот вопрос. Верней, скажу так. – Валентина Лихачева сделала глубокий вдох, как бы готовя себя к затяжному нырку в воду. – У Василия Лукича натура горячая, и он верит, что должен и может сам, лично повлиять на подшефных. Он сугубый индивидуалист. А я стою на других позициях. Я за коллективный метод работы с подшефными.

– А именно?

– Ну, я вам рассказывала. Вот план моего района. Смотрите, – Лихачева подошла к стене, на которой висела карта, взяла указку. – Красными кружочками, – она нацелилась указкой, – у меня отмечены дома, где живут подшефные. Как видите, их немало. Что я сделала? К каждому подшефному у меня прикреплен шеф – в большинстве своем это студенты педагогического института.

– Студенты или студентки?

– Студентки. Они охотней дружат с нами. Ребята под всякими предложениями стараются улизнуть от нас...

– Почему? Вы не считаете, что здесь тоже скрыта какая-то проблема?

– Нет, не считаю. – Лихачева непокорно взглянула на Петрова, и лицо ее залилось густой краской. – Девочки, верней – девушки оказывают на подшефных более благотворное влияние. Они мягче, сердечней.

– Вы думаете, хулигану, чтобы он исправился, нужна обязательно сердобольная тетушка?

– Не хулигану, а подшефному подростку, и не сердобольная тетушка, а сердечный, неравнодушный человек. Самое главное – неравнодушный, честный. Вот что я думаю! – Ого, какой у Валентины Лихачевой был сейчас горячий, непримиримый взгляд! Петров искренне залюбовался ею.

– Вы не сердитесь на меня, – улыбнулся Петров, как бы извиняясь перед ней, – я, может, специально говорю все это, чтоб вызвать вас на откровенность. Я и сам считаю, что не только с вашими подшефными, как вы говорите, но и вообще друг с другом люди должны быть сердечными, мягкими, неравнодушными.

– Ох! – рассмеялась неожиданно Лихачева. – А я уж подумала, вы какой-то прямо поперёшный!

– Какой, какой? – продолжал улыбаться Петров.

– Поперёшный! – не объясняя, повторила Лихачева. – Я родом из деревни, – признавшись в этом, она вновь густо покраснела, – ну нас там говорят о тех, кому все не так, все не этак: поперёшный!

– А что, емко говорят, – согласился Петров. – Но вы извините, я перебил вас. Продолжайте.

– Ну так вот, к каждому подшефному у меня прикреплен шеф. Вот видите, голубые кружочки – рядом с красными? Это дома, где живут шефы. Главное, чтоб они жили неподалеку. Чтоб могли не формально интересоваться жизнью ребят, а были бы всегда в курсе их дел. Это раз. (Между прочим, пока Лихачева рассказывала, а Петров слушал, Елена Васильевна что-то все время записывала в блокнот. Надо бы поинтересоваться, подумал без насмешки Петров, о чем это она пишет?) Второе, – продолжала Валентина. Губы ее, нежные, сочные, и пушистые

волосы, и чистые глаза, – все говорило почти о детскости Лихачевой, – как это Петров принял ее поначалу за взрослую женщину? Ведь ребенок еще, совсем ребенок, хотя и лейтенант. – Второе, – повторила Лихачева, – наладить контакт с рабочими, с которыми ребята вместе трудятся на заводах. Или с мастерами, или с воспитателями, если они учатся в училищах. Третье – контакт с родителями...

– Родители – на третьем месте? – снова не выдержал Петров.

– А вы знаете одну закономерность: для таких ребят родители не авторитет?! Вот вы, наверное, думаете, что мы призываем родителей воспитывать своих детей? Ошибаетесь! Мы занимаемся воспитанием самих родителей.

– Ага! Здесь вы смыкаетесь с Бобровым, – вставил Петров.

– Здесь – да, смыкаемся. Только работаем в разных плоскостях. Мы хотим начать с родителей, а Бобров стоит на утопической точке зрения: он хочет перевоспитать сразу всех граждан, весь народ.

– Да, тут ваш Бобров явный прожектор, – согласился Петров. Но не без усмешки ли согласился?

– Вы иронизируете или говорите всерьез?

– Да я и иронизирую, и говорю всерьез.

– А все-таки – какая точка зрения ближе лично вам?

– Мне-то? Да я пока не знаю. Честное слово! – Петров приложил руки к груди и улыбнулся. – Я для того и приехал, чтобы разобраться.

– Ясно. – Лихачева словно отмахнулась от Петрова и продолжала дальше: – Четвертое. Дружба с ткацкой фабрикой.

– В чем она проявляется, дружба с фабрикой? – спросил Петров. Надо сказать, он ничего не записывал, только слушал, только спрашивал, как будто корреспондентом был вовсе не он, а Елена Васильевна, которая без конца строчила что-то в блокноте.

– Дело в том, что на ткацкой фабрике работают в основном девушки. Дружба с ними положительно влияет на наших подшефных.

– Да, но вопрос – как их заставить дружить с ними? Ваши подшефные вечером, к примеру, хулиганить собрались, а вы тут как тут с девочками, что ли?

– Честное слово, Владислав Юрьевич, я никак не пойму, почему вы настроены так иронично? Вы что, подвергаете сомнению правильность наших методов? Так я понимаю? – Лихачева смотрела на Петрова без всяких шуток – серьезно и испытующе.

– А что – есть такой прием. От обратного, – улыбнулся Петров. (Видит Бог, ему не хотелось ссориться с Лихачевой: она искренне нравилась ему своей детскостью, незащищенностью, святой верой в незыблемость лично разработанных принципов.) – Знаете такой прием?

– Какой?

– Сократовский. Как он обучал своих учеников? Методом отрицания. Отрицая, вы заставляете противника оттачивать доказательства. Так что, Валентина, не враг я вам, а друг!

– Еще бы вы были врагом! Вас бы тогда и в журнале держать не стали.

– Вот именно. Хотя, между нами говоря, меня давно пора оттуда выгнать.

– Ой, да за что это?! – воскликнула Лихачева. (А Елена Васильевна с каменным лицом все продолжала и продолжала писать.)

– За альтруистический нигилизм.

– Это еще что такое?

– Да вот видите как: из любви к человеку приходится все отрицать. Отрицать, чтобы утверждать. И таким образом отрицание постепенно становится второй натурой. Стали бы вы держать в штате человека, который ни во что не верит?

– В смысле – у себя, в инспекции?

– Да, у вас, в инспекции.

– Таких людей просто не бывает на свете. Которые ни во что не верят. Пока живешь – веришь. Так я думаю.

– Ого, какие афоризмы! – воскликнул Петров. Без насмешки воскликнул.

– И потом, Владислав Юрьевич, я же понимаю – вы шутите. Ведь так?

– Конечно!

– Ну вот видите. Когда однажды мы забирали Володю Зинченко – он пьяный был, – он вдруг закричал: «Не подходи, зарежу!» Я тогда мягко так говорю Володе: «Ты шутишь, ведь правда, Володя?» И что он мне ответил? Он бросил нож и сказал: «Конечно, шучу, Валентина Максимовна».

– Я так понимаю: Володя Зинченко – один из ваших подшефных?

– Да, конечно.

– Красивая штука – аналогия. Раз-два – и ты уже брат знаменитого ярославского человека Владимира Зинченко!

– Вы не обижайтесь. Это я так просто рассказала. К тому, что понимаю шутки...

– Ну что вы, что вы, конечно...

Поговорив еще с полчаса, Петров с Еленой Васильевной сели в «Волгу» и уехали. Договорились с Лихачевой, что скоро встретятся снова. Встретятся обязательно, потому что Петрова заинтересовал образ ярославского хулигана Владимира Зинченко. Заинтересовал как раз тем, что Зинченко исправился. Самое то, что нужно, – чтобы хулиган вышел на правильную дорогу. И тогда можно будет делать глубокие и далеко идущие выводы. Вот только колорита не хватало в Зинченко. Ну что это, в самом деле, человеку всего четырнадцать лет? Надо бы хулигана поматерей, лет семнадцати-восемнадцати, чтоб он ограбил кого-то, совершил разбой или даже убийство, а потом раз – и исправился. Искать, искать тут нужно, думать, как исправился, почему, какие причины? А у Зинченко причина простая: увидел, как родной дядька зарезал собутыльника. Где тут воспитательные методы? Где работа с подшефными? Где коллектив? Просто случай потряс Зинченко – и все. Увидел, как дядька всадил нож человеку в сердце, как кровь брызнула фонтаном, и – прозрел. Понял, что такое нож. Что такое кровь. И смерть. Но где процесс перевоспитания? Читателям журнала нужно именно это – процесс. Чтобы и в других городах могли поучиться, как нужно работать с хулиганами. Так что Зинченко как перевоспитавшийся вроде подходит, а вот по тому, как именно перевоспитался, не подходит совсем. Жаль. Впрочем, поживем – увидим. Надо осмотреться, прикинуть, подумать...

В машине Петров спросил Елену Васильевну:

– Она откуда сама-то взялась, эта Лихачева?

– Понравилась она вам? – вопросом на вопрос ответила Елена Васильевна.

– Есть кое-что любопытное. Честная, искренняя, добрая. Но немного наивная, что ли. Простите, не хочу обидеть ее.

– Нет, Владислав Юрьевич, она не наивная. Она просто очень чистая. Чистые люди, если вы заметили, нередко производят впечатление наивных.

– Да? – удивился Петров, хотя в душе не мог не согласиться с Еленой Васильевной.

– Да, Владислав Юрьевич.

– Ну что ж, тем лучше для нее. Не наивная, а чистая. Но тем не менее, согласитесь, несколько утопична... как бы это сказать... не идея, нет, идея верная – перевоспитывать, а утопична жесткость схемы, строгость системы, ее обязательные параграфы, по которым надо воспитывать хулиганов. Меня лично как журналиста больше не системы интересуют, не параграфы, а конкретные дела, поступки... Вот Бобров – тот человек дела, поступка!

– Бобров нередко использует антивоспитательные приемы.

– Зато он практик! Он конкретен.

– Вы еще не знаете Боброва, а уже защищаете его. Ох, мужчины, мужчины, – и Елена Васильевна снисходительно улыбнулась, чтоб Петров, не дай Бог, не подумал, что она осуждает его.

– Бобров мне симпатичен.

– Чем?

– Он идет против течения. История человечества показывает: прав тот, кто идет против течения.

– Хотите мое мнение?

– Да, конечно.

– Это не история показывает. Это просто одна из истин, которая в ваших устах становится догмой.

– Интересно, интересно, – воодушевился Петров.

– Да, догмой. Потому что полная истина заключается в том, что правы бывают и те, кто идет против течения, и те, кто идет по течению. История полна примеров как первых, так и вторых. Только в памяти нашей застревает больше первое. И знаете почему?

– Почему?

– Потому что идея сопротивления часто оправдывает нашу пассивную жизнь. Да, да! Нередко человек сопротивляется только потому, что ему лень жить активно, лень думать, созидать, бороться, искать истину. Так что идти против течения бывает очень удобно лентяям, бездельникам, трусам, эгоистам, индивидуалистам. В действительности, конечно, они не идут против течения, они топчутся на месте, а оправдывают себя вот этим: мы-де идем против течения, как это делали все великие до нас!

– А все-таки, Елена Васильевна, хоть один конкретный пример великого человека, который шел бы по течению?

– А что считать точкой отсчета? Это ведь самое главное – определить отправную точку.

– Скажем, так: отправная точка – мнение большинства людей.

– Нет, не так, – не согласилась Елена Васильевна. – Великий человек не отвергает мнение большинства, а создает его. Собственную идею он делает всеобщей. Дело тут не в заблуждении большинства, а во всеобщем незнании, которое становится знанием всех. Так что и Аристотель, и Данте, и Коперник, и Ньютон, и Гомер, и Эйнштейн, и Пушкин – разве они плыли против течения? Они шли вперед, от незнания – к знанию, от того, чего не было, к тому, что стало.

Машина мчалась по Ярославлю, шофер молчал, но, кажется, внимательно прислушивался к разговору Петрова с Еленой Васильевной; во всяком случае, за последние годы он не помнил, чтобы Елена Васильевна говорила с такой страстью и с такой искренностью... И о чем? А Бог его знает о чем. Так же не помнил и Петров, чтобы во взрослой своей жизни – а не в студенчестве – он говорил с кем-нибудь на подобные темы. Странно, отметил он про себя, разговоры людей друг с другом как бы измельчали, стали пресными, то просто деловыми, то пусто-ироничными, а в результате? Всеобщее отчуждение и разобщение...

– Мы отвлеклись, Елена Васильевна... Откуда все-таки появилась у вас Лихачева? Как я понимаю, на сегодняшний день – ваш лучший инспектор.

– Биография у нее простая. Приехала в Ярославль из деревни, работала на ткацкой фабрике, участвовала в молодежных оперативных рейдах. Предложили работать у нас – согласилась.

– Почему?

– Вы будете писать о ней?

– Еще не знаю, – уклончиво ответил Петров.

– Дело в том, что у Валентины нет родителей. Воспитывала ее бабушка, Мария Евграфовна. Я с ней знакома, замечательной души человек, деревенская подвижница.

– Простите, перебую вас... В чем именно подвижница?

- В жизненной установке. Жить только для других – разве не подвижничество?
- А конкретно?
- Конкретно? Если б не Мария Евграфовна, в деревне так бы и не построили восьми-летку. Не будь Марии Евграфовны, местный леспромхоз так бы и вырубал вокруг деревни вековой лес. Не возьмись за дело Мария Евграфовна, так бы никогда и не был создан мест-ный фольклорный ансамбль. Ансамбль, который, между прочим, собирает и пропагандирует фольклор всей Ярославщины... Мало этого?
- Она что же, эта Мария Евграфовна, какой-нибудь депутат?
- Никакой она не депутат. Говорю вам – подвижница!
- Подвижница – это прекрасно. Но на социальной лестнице – кто она? Директор школы, председатель колхоза, директор совхоза, кто?
- Рядовая колхозница.
- И ей дают мутить воду во всем колхозе?
- Как это – мутить? Ей-богу, странно вы выражаетесь, Владислав Юрьевич... – Чувство-валось по голосу, Елена Васильевна немного обиделась на Петрова.
- Извините, неудачно выразился... Я имею в виду: как это ей, рядовой труженице, поз-воляют вмешиваться, даже вершить такие дела?
- Да она никого не спрашивает! На то она и подвижница.
- Любопытно... Как же она тогда позволила внучке уехать из деревни? По идее, Вален-тина должна была продолжать подвижничество бабушки...
- Мария Евграфовна сама отправила ее в город. Говорит: поезжай, учись, перед ученым человеком и скатерть сама стелется.
- Да ведь Валентина не учится, а работает!
- Как это? Учится заочно на четвертом курсе юридического института.
- Ну, прямо герой нашего времени!
- Вы иронизируете, Владислав Юрьевич?
- Нет, я просто хочу понять. Мне все кажется, что она не столько сама героиня, сколько ее таковой делаете вы.
- Вы – это кто? Лично я?
- И лично вы, и, так сказать, ярославская общественность.
- Ошибаетесь, Владислав Юрьевич. Такие, как Лихачева, не нуждаются в искусственной героизации. Знаете, почему она пошла работать к нам?
- Почему?
- Потому что считает, что хулиганы – это прежде всего сироты. Да, да. Духовные сироты. И это – при живых родителях. Вы ведь помните – она сама сирота, поэтому поставила перед собой цель: вытаскивать из сиротства любую заблудшую душу.
- Хулиганы – это не сироты, это хулиганы. Духовное сиротство – только красивый пассаж, не больше. Во всяком случае установка Боброва мне ближе: хулиган – наглец, а потворствуют ему те, к кому он пристает. Нужно не хулиганов перевоспитывать, тем более не оправдывать их духовным сиротством, нужно воспитывать в людях человеческое достоинство, мужество, гражданскую зрелость.
- А вам не кажется, что это две стороны одной медали? И то и другое можно сомкнуть, и тогда получится универсальный результат?
- Что-то я не заметил, чтобы вы поддерживали идеи Боброва.
- Идеи – поддерживаем, а методы – отрицаем.
- Диалектика?
- Если хотите, да.
- Почему же тогда Володю Зинченко перевоспитала не Лихачева, не система и не фило-софия, а просто случай?

- Что вы имеете в виду?
- Ну, не Лихачева же отвратила его от хулиганства? Увидел парень, как дядька зарезал собутыльника, и прозрел. А еще проще – испугался. Наверняка так.
- А вы не думаете, что почву для прозрения подготовила все-таки Лихачева?
- Здесь, конечно, можно повернуть по-всякому. Хочется так – пожалуйста, хочется этак – тоже на здоровье.
- Любопытный вы человек, Владислав Юрьевич. Все-то вы подвергаете сомнению... Значит, метод такой, да?
- Именно. Сократовский метод. Можно назвать и по-другому – альтруистический нигилизм. Или – нигилистический альтруизм.
- Помню, помню, – рассмеялась Елена Васильевна. А рассмеялась, наверное, потому, что нельзя же разговору придавать только серьезный оттенок. Надо и легким его делать, шуточным, веселым. Так?
- Елена Васильевна, куда едем? – спросил шофер, когда «Волга» притормозила у одного из светофоров.
- Елена Васильевна вопросительно взглянула на Петрова.
- Если можно – в гостиницу, – сказал Петров. – Нужно, пожалуй, отдохнуть.
- В нашей столовой пообедать не хотите? – спросила Елена Васильевна.
- Нет, спасибо. Как-нибудь в другой раз. А сейчас у меня к вам просьба, Елена Васильевна.
- Пожалуйста, пожалуйста.
- Нельзя ли нам съездить к Некрасову, в Карабику? Понимаете, когда еще выдастся случай побывать у вас... А Некрасов есть Некрасов.
- Конечно, конечно, все что угодно. Когда вы хотите? После обеда?
- Давайте сделаем так. На сегодня работу закончим, я хочу остаться один, похожу по Ярославлю, подумаю, огляжусь по сторонам.
- Может, сопроводить вас?
- Нет, нет, я люблю один, простите... А вот завтра, если можно, к Некрасову.
- С утра?
- Это уж как вам будет удобно.
- Хорошо, договорились. Завтра в десять ноль-ноль заезжаем за вами в гостиницу.

В каких только городах не побывал Петров за годы журналистских странствий! Чего только не повидал! И все-таки в каждом новом городе искал и находил что-то свое, особенное. Поначалу это особенное жило в сердце, постепенно – с годами – тускло, а затем и вовсе превращалось в полумистическую пыль памяти. Но что поделаешь с этим? Невозможно удержать в себе впечатления жизни такими, какими они входят в нас в первый миг, в первые минуты, часы и дни...

Осень. Осыпаются клены, липы. Вот аллея, ведущая к Спасо-Преображенскому монастырю. Садится солнце. Сказать ли, что солнце было красным? Или что листья были золотыми? Все это ясно – осень. Или о том, что неожиданно грустно становится на душе? И это ясно: осень, чужой город, одиночество души...

Отчего в каждом новом городе вас охватывает тоска?

И отчего потом, когда вы уезжаете, вам жаль расставаться с ним?

Отчего везде, где бы вы ни были, останетесь вы только одни, вас тут же схватит за сердце грусть и печаль, а то и тоска, а то и самое настоящее отчаяние? Отчего так остро ощущается неприкаянность жизни в чужом городе?

Сначала Петров вышел на набережную: искрящаяся под блёстками солнца раздольная величавость реки, высокий откосный берег могучей Волги, просторная даль лугов и лесов на

том берегу, мощные валы крепостных стен с Васильевской и Волжской башнями, блистающие купола церквей и Спасо-Преображенского монастыря, – всё отдавалось в душе красотой и печалью. Печальна, как известно, любая красота. Величавая красота печальна вдвойне.

Петров бродил по земле монастыря, всматривался в архитектурные таинства, вместе с другими дивился «святым воротам», заглядывал в трапезную, подолгу рассматривал росписи куполов и монастырских стен, и чем больше бродил и смотрел, тем большую – в который раз в жизни! – чувствовал в душе растерянность. Он знал, он понимал, что вот здесь, среди этих стен, давным-давно, в шестнадцатом, в семнадцатом или в восемнадцатом веках – во все века до появления на свет белый Петрова! – текла жизнь, полная страстей, крови и добра, исполненная тревог и лишений, счастья и истин, и люди здесь были самые что ни на есть настоящие, живые, с зычными голосами, с верой в величие правды, со жгучей ненавистью к врагам, с лютостью характеров и кротостью нравов, – всего, конечно, хватало в той жизни, – но вот чего никак не мог Петров ощутить до конца – это подлинности ушедшей жизни. Знал: была, была она! – а вот почувствовать всем сердцем, до осязательной и ощутимой глубины, – не мог! Не получалось. И не получалось это у Петрова давно – с тех пор, наверное, как он впервые задумался: а что я делаю среди всей этой древности, которой с виду поклоняюсь, а в действительности?..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.